

НИК. АРДЕНС



Роман
в трех
частях

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МОСКВА 1967

Федор Михайлович решает нажить все пропущенное

Лето 1854 года выдалось необычайно жаркое. Но если жара настигает человека где-нибудь у моря или среди густых лесных пространств, она не так изнуряет душу и тело, как это бывает в степях, совершенно оголенных, почти лишенных зелени и засыпанных песками. Такова среднеазиатская степь; она весьма тяжело дышит в знойные летние дни.

Город Семипалатинск, куда судьба бросила Федора Михайловича после каторжного плена, стоит как раз посреди степных просторов, и летняя жара в нем часто исистово свирепствует по всем немощным улицам и невыметенным дворам, являя собою полный контраст с жесточайшей зимней стужей. Ежечасно проносятся над ними то легкими, то бурными порывами тучи песчаной пыли, вздываемой капризным и упорным степным ветром.

Федор Михайлович никак не мог определить, в каком смысле Семипалатинск называется городом и в чем его отличие от большой сибирской деревни, каких немало он видел на своем недавнем пути из Омска, по дорогам вдоль правого берега Иртыша.

Со своими спутниками он въехал в северную, так называемую Казацкую слободку города и не заметил ни единого каменного строения, кроме посеревшей от пыли церкви с крышей, которая странным образом заросла бурьяном. И в крепости, находившейся в центре, и тем более в южной слободе, называвшейся Татарской, где жило самое беднейшее население, все дома и домишкы, обращенные окнами во дворы, были деревянные, бревенчатые, сосновые (за городом протирался к югу дикий и почти необжитый бор, и в нем дичи — тьма).

В ту пору стояла гнилая мартовская погода. Улицы были мокры от таявшего снега, и по густому и сырому песку ходить было невообразимо трудно. Однако скоро пески были высушены степными ветрами, и

перед Федором Михайловичем предстал Семипалатинск со всеми его достопримечательными свойствами и особенностями: улицами, поросшими колючками, каменными воротами, сохранившимися от бывшей «крепости», меновым двором, куда непременно заходили караваны верблюдов и выочных лошадей, деревянными мечетями и никогда не умолкавшим лаем дворовых собак.

Посреди города стояла казарма, в которой помещался линейный батальон, а неподалеку расположилась конная казачья артиллерия. В батальонной казарме и нашел свое первое место жительства Федор Михайлович. Казарма была длинная и старая. При входе в нее находилась канцелярия и дежурная комната, а за ними продолжались бревенчатые стены, на которых висели рядом с портретом Николая I разные ветхие литографии с походами Суворова и Румянцева, причем все они уже давно приобрели старческие морщины и иные следы долголетней, хоть и безмятежной, жизни.

Федора Михайловича зачислили в первую роту, которой командовал старый капитан Степанов, личность весьма безалаберная и пьяная, но вместе с тем пребывающая душа.

— Так ты... так вы, значит, сочинитель? — в сотый раз, пребывая в роковом состоянии, спрашивал Степанов у Федора Михайловича. — Это оригинально и вполне заслуживает уважения... Вполне, — уверенно заключал он, весело улыбаясь и морщась толстым синеватым носом.

В казарме Федор Михайлович получил свое собственное место — на верхних нарах, у круглой железной печки. Оттуда простирался вид на многолюдное пространство внизу, всегда заволоченное каким-то сизым туманом, забросанное серыми шинелями и заставленное грязными солдатскими сундуками разных цветов и фасонов. И он также приладил свою шинель буро-глиняного вида на отведенном ему постельном месте, покрытом куском кошмы.

И так он стал солдатом. С него снова сняли «каторжную» бороду. Дали смазные сапоги и куртку с

красными петлицами. Унтер-офицер «сверхсрочник» начал с ним фруктовую муштровку, обучал его всяким поворотам и строжайшему поведению. И Федор Михайлович со всем покорно, почти радуясь, примирялся, вполне отдавшись новому и неизбежному делу.

— Так вот она, сибирская глушь. Вот она солдатчина, — думал он в часы после фронтовых занятий. Но пока я в солдатской шинели, я такой же пленник, как и прежде, не иначе. А когда же я буду свободен — по крайней мере как другие люди? — не переставая спрашивал он сам себя.

Ответа на все эти безудержно возраставшие вопросы он не находил. Но одно обстоятельство уже казалось ему вполне действительным и даже кружило ему голову: это возможность писать. Перо уже было у него в руках, и никто не посягал на его главные права — быть сочинителем, по крайней мере никакого запрета уже не было. И он предался своему перу, своему кровному писательскому делу, столь неожиданно прерванному и задержавшемуся.

Федор Михайлович записывал все мельчайшие, подслушанные им разговоры и словечки, какие только могут быть слышими в народе. Заведенную в каторге для этой именно цели тетрадь, выхватывая украдкой минуты передышек, он заполнял занятными и на лету пойманными выражениями, острыми мыслями и всякими встретившимися в его буднях примечательными историйками; все это он считал как бы своим литературным сырьем, но весьма и весьма необходимым для всей предвидевшейся и красноречивой будущности. Тут он закладывал некие фундаменты ожидаемых творений, ясневших перед ним своими широкими дарами. И все перелистывал свою тетрадь, в каждое возможное мгновенье перечитывал торопливо записанные и часто недоконченные прибауточные слова вроде, например, таких: «А по-нашему, хоть на час, да вскачь», «А водочка у него из Киева пешком пришла», «Деньги — голуби: прилетят и опять улетят», «А в котором году? Да в сорок не нашем, братец», «Руки свяжут, язык развязнут», «А есть деревенька? — Да, два снетка. По оброку в Ладожском озере ходят», — и все

в таком острословном занимательном роде, в коем слышны были совершенно разные голоса — и русские и татарские, и украинские, и казахские, и дагестанские, и всякие другие, звучавшие середь каторжных нар.

На новых местах Федор Михайлович предался и новым размышлениям. Поскольку позволяла батальонная субординация, он отлучался иногда из казармы и с наслаждением осуществлял права свободно шагающего по улицам человека. Было это ему чрезвычайно нужно и любопытно, так как все каторжное прошлое вконец истомило его своей скученностью и скованностью. А здесь эта прошлая теснота жизни и движений сменилась часами (хоть и редкими) уединенных мыслей, и стало как-то шире и просторнее. И Федор Михайлович любил в досужную минуту выйти к берегу Иртыша и пофланировать к Татарской слободке, вдоль высоких заборов, отгораживавших дома от улиц, и при этом любовался сильной и бурной рекой, стремившей свои воды внизу, под высокими обрывами; с чрезвычайным любопытством заглядывался он также на длинную полосу противоположного берега, застроенного юртами казахов. Недавно он ни одного часа не был один. Теперь же он мог иногда отаться самому себе, мог не оглядываясь и вполне по собственной воле кого-то наблюдать и что-то вспоминать. И даже телом он вдруг, с загадочной быстрой, удивительно окреп. «Вот что значит выйти из тесноты, духоты и тяжкой неволи», — с восторгом написал он брату своему Михаилу Михайловичу в Петербург, едва только очутился в Семипалатинском батальоне.

Одним словом, Федор Михайлович почувствовал себя как бы в новой коже. Хоть и не было еще свободы, о которой он продолжал тосковать, тем не менее никакие назойливые воинские команды и учения, никакие приготовления к смотрам бригадного или дивизионного командиров — ничто не повергало его в отчаяние, как это было недавно в Омском остроге. Мысль, что все еще можно нажить и что уже что-то

им даже наживается, — уносила без задержек его в новые и благодетельные миры.

— Надо, надо все заново наживать, — твердил он беспрестанно самому себе. — И как можно скорее! Ведь в несчастиях яснеет истина (не без остроумия определял он свою судьбу...). И она уже заснислась во мне, и я почти, почти вижу ее. И потому не ропщу, нет, нисколько... Я знаю, что и каторга и солдатство — это не шутки, а настоящий, мне ниспосланный и мой, мой крест, и я его вполне, можно сказать, даже заслужил. Несу его с ожесточением и с радостью.

Так Федор Михайлович решил наживать все свое, все пропущенное, все отнятое, что причиталось ему в жизни, во всех земных пристанищах. В душе его зрело и уже вполне созревало многое новое, а все увядшее выбрасывалось без сожаления вон. Это новое, несозданное в прошлом, разумеется не по его вине (ист и нет...), казалось ему испомерно громадным, почти фантастическим, однако же вполне осуществимым, — кабы только хватало телесных сил!

Одно, что его несказанно тяготило и о чем он мог написать только своему любимому брату, — это была его непрекращавшаяся болезнь с припадками. «Странные припадки, — написал он Михаилу Михайловичу, — похожие на падучую, и однакож не падучая». А все остальное было как бы только что и совершенно заново приобретенное. «И не подозревай, что я такой же меланхолик и такой же мнительный, как был в Петербурге в последние годы, — не без некоторого задора заявил он брату, — все совершенно прошло, как рукой сняло».

И Федор Михайлович был вполне прав, полагая, что прошлые меланхолические «кондрашки» за годы каторги (там уж не было и времени для меланхолии) успели неведомо куда скрыться. Однако беспокойство ума, всегдашая тревога за собственную мысль, за неоконченное дело, за возникающие порывы — все это даже еще стремительнее развилось в годы полнейшего запрета и душевной ломки. Только всему этому не было выхода, не было для всего этого ни единой щелки.

Теперь же Федор Михайлович чувствовал, что и люди и вся природа смотрят на него каким-то новым и иным взглядом. Да и сам он — хоть и в своей бурой шинели — глядел в мир куда повелительнее, озабоченнее и даже торопливее, нежели в Петербурге: видно было, что и в самом деле он решил мигом нажить все пропущенное, все несвершенное в последние, отверженные годы.

Что особенно заботило и совершенно завладевало духом и помыслом Федора Михайловича, это жажда человеческого тепла, которого почти не знал он вот уж четыре года, бывших у него «тяжелым сном», по его собственному заключению. Выйдя из каторги «решительно больным», он в первые же мгновенья почувствовал, что он донельзя продрог, находясь закрытым в холодном гробу (именно так он определял...). Ему мучительно захотелось чьего-то участия, чьего-то сострадания, чьей-то душевной теплоты. «Семейное счастье... — размышлял он в каждую свободную минуту, — что может быть выше его? И как тяжело пробивать свою дорогу вкривь и вкось, направо и налево, как я! И как хорошо на место моей безалаберщины водворить тишину семейной жизни!»

Федор Михайлович считал себя ужасно «сживченым» человеком, умеющим любить и «срастаться» с тем, что его окружало. И вот, уже выйдя из каторжной казармы, он без памяти был пленен сердечностью одного омского семейства, в котором прожил почти месяц, пока не был отправлен этапом в Семипалатинск. Хозяйка этого семейства Ольга Ивановна, дочь изгнанника 25-го года Анненкова, прослывшая о нем еще в Тобольске, когда он привезен был в Главный приказ о ссыльных, приютила у себя его, вышедшего из мертвого дома. Что за чудная душа! — думал, говорил и вспоминал о ней Федор Михайлович. Что за сердце! Он впервые после долгих лет (хотя и на каторге встретились ему достойные люди) почувствовал биение настоящего человеческого сердца. Нет, не забыт он людьми, успокаивал он себя, видя заботливость Ольги Ивановны и ее мужа, добрейшего Константина Ивановича, служившего военным инженером.

Сейчас, заброшенный за тысячи верст в Семипалатинск — грязный городишко, в котором едва насчитывалось пять или шесть тысяч людей, из коих большинство были «азиаты» (так именовали тогда кокандских и бухарских купцов и полуоседлых киргизов), он предался своей тоске по людям, по теплому слову, и ждал, нетерпеливо ждал этого слова.

Живя в казарме и истребляя деревянной ложкой с толстым черешком варево «без названия», он вполне понимал всю мизерность своего положения, всю свою подчиненность новым и еще неизвестным людям и новым и тоже еще неизвестным обстоятельствам. Поэтому он был как нельзя более осторожен и робок в своих поступках, в своей переписке с братом Мишой и со всеми родными и во всем поведении с солдатами, офицерами и чиновниками, коих постепенно узнавал все более и более.

Однако, понимая все это, он никак не мирился со своей приниженнстью и в душе бессильно на нее роптал, считая, что ему надо наконец жить, и даже намереваясь все более и более жить и жить. Он боялся, как бы новые годы не продолжали идти бесплодно — в черном, горемычном быту. Деньги и книги — вот что нужно было ему, как воздух, как хлеб. «Книги — это моя будущность, это моя пища, это вся моя жизнь», — думал он и писал о том первому и главному своему поверенному брату Мише, на которого возлагал сейчас все свои надежды, как на помощника в нужде, еще не покинувшей его. Он с жадностью глядел на книги и решил читать и читать. «Ужасно я отстал», — говорил он себе. Его потянуло к философии. Брата он просил непременно прислать Гегелеву «Историю философии», «Критику чистого разума» Канта и иные сочинения. Просил и европейских историков, и «Отечественные записки» и «святых отцов», и Коран, и древнейших историографов и жизнеописателей, вплоть до Флавия, Плутарха и Диодора. «Пойми, как мне нужна эта духовная пища!» — взывал он к брату. И Михаил Михайлович хоть не слишком часто, но посыпал с почтой или с оказией и книги и деньги: то 50 рублей, то 25, то еще сколько-нибудь, —

лишь бы кошелек Федора Михайловича был в некоторой исправности.

Но особенно Федор Михайлович кинулся к современной литературе. Что и о чем пишут? Как пишут? И кто, кто именно пишет? Он разыскивал журналы последних лет и выкапывал там сочинения Тургенева, Писемского, Островского и иных и многое, многое уже отложил у себя в памяти, даже припрятал где-то в сердце. Впрочем, комедии Островского ему не понравились. Зато в Тургеневе он подметил огромный талант, хотя вместе с тем и какую-то невыдержанность. Очень понравился ему Писемский: хорошо рассказывает, решил он. Прочитал он в «Современнике» и разные новые сочинения — «Историю моего детства» и «Отрочество» некоего автора, скрывавшего себя за инициалами Л. Н., и все допытывался, кто же это такой «Л. Н.», подписавшийся столь боязливо, только двумя буквами, под сочинениями, достойными крупного и полного имени. Своих столичных знакомых он просил разгадать ему эту загадку с буквами и наконец получил разгадку: граф Лев Николаевич Толстой. Это новое имя запомнилось и сразу почему-то внушило ему расположение. Повести «Л. Н.» ему очень понравились, хотя и показались какими-то случайными, так что он даже подумал: их автор «много не напишет» (но тут, может быть, оговорился он про себя, он и ошибается). Перечел Федор Михайлович в журналах и все новые стихи, и очень многие найдены были им положительно превосходными, особенно стихи его старого друга Майкова и еще особенное стихи Тютчева, которого Федор Михайлович счел просто замечательным сочинителем.

Роясь в журналах и жадно, хоть и урывками, читая, Федор Михайлович все более и более разгорался мыслями и планами — писать, писать романы, писать повести, даже отдельные приключения, но писать и непременно писать. Каторжные годы наполнили память его небывалым множеством новых понятий и выводов из всяких людских историй. Они страшно рвались вперед, просились на бумагу, на страницы каких-либо журналов, и самые упорные и горячие

мысли были у него о жизни всенародной и даже всечеловеческой. Мысли эти становились первейшими среди всех других. Вочные часы они приводили его к мучительным ожиданиям, к полнейшей бессоннице и страданию, — так сильна стала потребность громко сказать о собственных своих выводах, скопившихся за годы изгнаничества. Федор Михайлович крепко уверился, что ему надо заявить свое и обязательно новое слово, причем вполне родное и вполне русское слово, но с расчетом на все человечество, как об этом он старался и в прошлые годы, и он скажет его, непременно скажет, так как все права на него были выстраданы. При этом он убеждал себя побольше из самолюбия обдумывать, так, чтобы в русских мыслях благородно сказывалась их всемирность, их всечеловеческое величие, а художественные мелочи собирались бы в один колоссальный образ, чтоб из этих мелочей выходили большие и совершенно новые характеры, а иных он и не собирался представлять читающему миру. «Побольше синтеза», — наставлял он свое перо; нужен высокий синтез и больше уважения к самому себе. И непременно, чтоб все было с идеей, так как поэт без идей не может стать истинным художником. А идея должна проявиться в характеристиках прежде всего. Она должна идти как бы впереди этих характеров и направлять их вместе со всеми порывами, поступками, событиями, ну и всякими там человеческими загадками и прочими занимательными и чрезвычайными картинками, до которых так охочи господа тонкие сочинители. Это были решительные мысли Федора Михайловича, каждодневно несшего ротную службу, по утрам обязательно чистившего свои смазные сапоги и маршировавшего в строю по несколько часов сряду с ходя с городской площади.

Поэтические опыты Федора Михайловича

Решив наживать все пропущенное за каторжные годы, Федор Михайлович не щадил своих усилий, чтобы быть исполнительным и примерным у начальства.

С усердием он нес караульную службу. В строю был всегда «подтянут» и хоть проявлял полное «ничегоне-
знание» в делах муштровки, но повиновался всем без исключения командам и даже воинскому азарту рот-
ного фельдфебеля. А в каждодневном быту соблюдал строжайшую аккуратность и учтивость во всех по-
ступках. Надо было заслужить благорасположение начальствующих лиц, так как впереди намечен был
многообещающий план: выбраться непременно из си-
бирской глухи — хоть на Кавказ, если уже нельзя сразу рассчитывать на Петербург, но выбраться во что бы то ни стало.

По счастью для Федора Михайловича, и на новых местах нашлись люди примерные и с приятным обращением, вполне благородные и даже чувствительные. И первой из них была жена капитана Степанова, любезнейшая Анна Федоровна, сразу прославившая от своего мужа о весьма занятном бывшем каторжнике.

Федор Михайлович был всеми оценен как прежде всего человек «из России», — а это считалось основательным поводом для благосклонности, — к тому же все вскоре узнали, что он сочинитель и даже удостоенный лестных похвал петербургских критиков, и это окончательно склонило на его сторону все внимание и любопытство местных просвещенных жителей и тем более завзятых любителей изящной словесности, выписывавших «Санкт-Петербургские Академические ве-
домости» и даже «Библиотеку для чтения».

Анна Федоровна не раз оставляла у себя как бы в роли достойнейшего гостя приходившего с казенны-
ми бумагами солдата Достоевского и все внушала мужу:

— Это тебе не какой-нибудь замухрышка, а че-
ловек деликатнейший и образованнейший. Притом —
писатель. И какой тонкий характер! А что попал в
беду, так не за воровство какое или душегубство, а по
уму своему. Погорячился человек, а намерения были
вполне нравственные.

Услышав от Федора Михайловича о напечатанных
уже им сочинениях, она решила во что бы то ни стало
отыскать столичные журналы и у какой-то вдовы уни-

теля раздобыла даже «Петербургский сборник» с «Бедными людьми», которые и были прочтены немедленно и даже с отменным удовольствием... «Чрезвычайно трогательная история, и чувства такие изобильные, — сразу душа сочинителя так и сказывается», — восхищенно улыбаясь, заявила она Федору Михайловичу.

Она потребовала от своего мужа прямого покровительства Федору Михайловичу, и когда однажды беспокойному супругу ее после обильного ужина в офицерском собрании приснилось, будто солдат Достоевский стоит один посреди голой степи, задуваемый ветрами и засыпаемый песками, и над ним кружатся целыми стаями хищные коршуны, готовые поглотить беззащитного человека, она категорически запретила ему видеть подобные неуважительные сны и заставила его испросить у батальонного командира подполковника Белихова разрешение рядовому Достоевскому, как сочинителю и рассудительному человеку, проживать вне казармы, в частном доме, в уединении, столь необходимом для поэтических вымыслов.

Капитан (надо отдать ему вполне должное) не противился своей жене и даже разделял ее достойнейшие мысли. Подполковник Белихов несколько дней ломал голову и покручивал свои усы глиняного цвета и в конце концов сдался перед силой отечественной словесности, бросив капитану Степанову свое благороднейшее решение и возложив на него и на фельдфебеля всю ответственность: пусть живет в частной квартире. Коли на роду написано ему быть сочинителем, пусть довольствуется своим уединением. Пусть.

Так и быть.

Федор Михайлович был совершенно повержен столь высокими чувствами начальства и Анны Федоровны и, растроганный донельзя, стал часто захаживать к Белихову и к Степанову и даже коротко сошелся с ними.

В чистой деревянной избе, неподалеку от берега, он снял маленькую комнату с весьма низким потолком, с одним только окном и потому чрезвычайно мрачную, но зато со всеми услугами, с едой, изгото-

Тут же Федор Михайлович признался своей командирше, что и он, размышляя прозой о своих сюжетах, вместе с тем впал и в соблазн поэзии и написал целых десять строф стихотворения «На европейские события».

— Прочитайте, непременно прочитайте, — решительно потрсбовала Анна Федоровна. — Меня всецма волнуют эти события, к тому же они запечатлелись у вас в поэтическом виде... — чувствительно заметила она.

И Федор Михайлович развернул свою тетрадь.

С чего взялась всесветная беда?
Кто виноват, кто первый начинает? —

так начал Федор Михайлович своим мягким, тихим, несколько хриповатым, но теплым голосом. В своем стихотворении, столь злободневном, он воздал должное могуществу российской державы, которую нельзя устрашить никакими угрозами и интригами, так как из всех своих исторических бедствий она научилась выходить и выходит только победительницей. Она «живуча», — убеждал он, и

Смешно французом русского путать.

Федор Михайлович признал (и совершенно верно, как заметила Анна Федоровна), что Англия, одержимая «безумным насилием», окончательно погрязла

В мерзительном алкании богатств

и что Россия имеет все права на восточное влияние и покровительство:

Восток — ее! К ней руки простираять
Не устают миллионы поколений.
И, властвуя над Азией глубокой,
Она всему младую жизнь дает,
И возрожденье древнего Востока
(Так бог велел!) Российской настает.

Но что особенно бросилось в глаза Анне Федоровне — это забота о царском престоле и всевозможные церковные заклинания, встретившиеся ей совершенно неожиданно. Как почитательница романа «Бедные

люди», она никак не могла узнать автора этого романа в новых его строках:

Но с нами бог! Ура! Наш подвиг свят.
И за Христа кто жизнь отдать не рад!

Или еще, к примеру:

Нас миллионы ждут царева слова,
И, наконец, твой час, господь, настал!
Звучит труба, шумит орел двуглавый
И на Царьград несется величаво!

Услыхав эти строки, Анна Федоровна как-то недоумевая и недоверчиво посмотрела на Федора Михайловича.

— Да полно! Вы ли это написали? — робко сказала она, помня прочитанных ею недавно «Бедных людей». — Ведь на первый взгляд выходит, будто эти стихи писал совершенно иной сочинитель... Но, впрочем, делает вам честь такое патриотическое восхваление нашего орла и такие мысли о Царьграде...

Федор Михайлович, подавленный восторженностью Анны Федоровны, потупленно молчал. Каторжные годы пригнули его плечи. Острожная куртка с тузом на спине и солдатский мундир сдавили грудь. Он всегда это помнил сейчас и чувствовал. И новые, совершенно новые выводы из всего надломленного пути были уже внушены ему. Порывы в золотой век человечества остывали в «те четыре года» (так он выражался), когда его горизонт был огорожен заборами Омской крепости и все его человеческие силы отнимались для изнурительного труда, совершенно ненавистного ему. Оглядываясь назад, Федор Михайлович видел, через какие медные трубы и через какой огонь он прошел, и перечислял все свои удары за ударами, начиная от петербургских литературных хлопот и кончая Семеновским плацем. Сколько всего пережито! И каких душевных сил стоила вся эта мимика! — размышлял он про себя. «Каторга много вывела из меня и много привила во мне», — написал он брату, едва только расположился в своей нанятой комнатушке у песчаного пустыря.

Залечивая обожженные места в душе, Федор Михайлович уже страшился прежних непомерных мыслей и жаждал успокоения в маленькой суете вокруг запущенных своих дел, столь нуждавшихся в коренном повороте, хоть мечтам его назначена была по-прежнему долгая жизнь.

Вокруг него — в его батальоне и в ссыльных начальствующих лицах — царило безмолвие, мысли аккуратно притуплялись казарменной словесностью и упованиями на милость божью. Мыкая горе, многие искали в молитвах забвение от всей юдоли земных слез и печалей.

Федор Михайлович, хоть и чувствовал всю нищету понятий и бедность слов у окружавших его людей, тем не менее не выражал им никакого удивления и покорно, помня еще маменькины заветы, растревоженным сердцем снова и снова льнул ко Христу и, доверяясь церковным уставам, видел в «святой Руси» оплот человеческого и своего — собственного своего счастья, — надо было лишь, по его мнению, уметь верить. «Буду верить, — обещал он себе, — миллионы верят, вся святая Русь, вся необозримая и всесильная земля, с тысячами храмов, — казалось ему, — возносит хвалы Христу! И я, смиренный, виновный и за то наказанный, должен принять его, — считал он, страшась своих раздраженных чувств. — Я пойду по его стопам, в нем обрету свою крепость», — метался в тревогах ума Федор Михайлович, рядовой линейного батальона, загнанный в сибирскую глуши и внезапно прельщеный музой стихотворчества...

Читая свое стихотворение «На европейские события», он заранее ждал одобрения Анны Федоровны и даже одобрения высшего начальства, безмолвно и безропотно преданного вере, царю и отечеству.

— Достойно внимания, — выдавила из стеснившейся груди Анна Федоровна, прослушав полностью все чтение Федора Михайловича. — С чувством написано. И надо бы довести до сведения батальонного командира.

— Радуюсь, очень радуюсь вашей похвале, — роб-

по ответствовал Федор Михайлович. — И я бы хотел подполковнику Белихову сообщить...

— И не только ему. Надо генерал-губернатору послать.

— Если вы находите...

— Разумеется. И не только генерал-губернатору. В Петербург надо послать, в журналы, военному министру.

Анна Федоровна разохотилась в своих похвалах и совсах и даже привела Федора Михайловича в некоторое волнение. Что, если и в самом деле начальство прочтет его патриотические излияния и разрешит напечатать их, например, в «Санкт-Петербургских ведомостях»?! Ему, «политическому преступнику», это будет не только лестно, но и весьма, весьма полезно. Кто знает, не тут ли спрятана его судьба?! «Предобре́йшая женщина эта Анна Федоровна, — приходил к выводу Федор Михайлович. — Завтра же представлю свои стихи капитану и командиру батальона. Пусть оценят. Пусть поймут, кто я и для чего еще нужен буду».

Круг знакомств стремительно расширяется

Однако поэтическим планам Федора Михайловича не было суждено сбыться. Стихотворение его побрело из канцелярии в канцелярию и через начальника штаба Сибирского корпуса докатилось до самого «генерал-лейтенанта и кавалера» Дубельта, у которого и спрашивалось позволение напечатать в «Санкт-Петербургских ведомостях» сочинение «рядового из политических преступников» Достоевского, но тут-то оно, в канцелярии достопочтеннейшего блюстителя государственного порядка, столь запомнившегося Федору Михайловичу, и завязло. Патриотическим чувствам Федора Михайловича не дали ходу.

Он, однако, кротко отнесся к пытке молчанием. Он убедился в том, что поэтический род чересчур для него стеснителен и при этом весьма коварен и, разумеется, не принесет ему радостей; поэтому он решил остано-

вить снова свое внимание на испытанной уже им — и вполне доброжелательной и вместительной — прозе. Но приступал он к пей с каким-то новым и особым чувством не то приятного страха, не то боязливого восторга, — ведь впервые после «тех лет» перо было по-настоящему в его руках. Он раскрыл свою тайную, вконец измятую тетрадь и разложил десятки всунутых в нее бумажных клочков, сплошь исписанных карандашом, и из этих заметок начал составлять описание прошедших каторжных лет; название этому описанию он уже давно держал в памяти — «Записки из Мертвого дома». Он составлял их урывками, не торопясь, приглядываясь ко всему прошлому и на первое место ставя все запомнившиеся у встреченных им людей и благороднейшие движения души, все замеченные им в каторжной духоте порывы сердца и томления уязвленных самолюбий.

Но не только каторжные воспоминания беспокоили ум Федора Михайловича. В его воображении стояли многие иные картины жизни, годные для целых повестей, даже для целых романов, величиною с Диккенсовы сочинения.

Федор Михайлович давно уже, не первый даже год, вынашивал один прелюбопытный образ, даже не один, а два, если еще не больше... Но самый главный (им изобретенный) был образ, или, вернее сказать, тип человека, совершенно потерявшего всякую меру своему себялюбию и лицемерию — до такой степени, что это себялюбие и лицемерие выступали уже с не-пререкаемым торжеством и властностью, подавлявшими самым наглым образом всех окружавших его людей... И теперь этот выношенный им герой уже не просто повелевал, а тянул жилы из всех домочадцев. Он не просто говорил, а как бы изрекал бесповоротные приговоры и наставления, причем каждый раз заранее и аккуратнейше, с особым вкусом, записывавшиеся им в специальную тетрадь. Выходил весьма примечательный и даже совершенно небывалый, никем не замеченный характер.

Вынашивая в себе образ этого героя, Федор Михайлович полагал ввести его в большое, суетливое и

говорливое общество, на котором и должны были отразиться все последствия наглайшего поведения изображаемого им ханжи. Федор Михайлович придумал для него и оригинальнейшую фамилию — Опискин, при этом для большей еще оригинальности выбрано было и смешливое имя и отчество — Фома Фомич. И будущему сочинению он придавал в своих замыслах комический характер, однако же с приправой и драматической мысли, как и подобает быть всякому высокому комизму. Главного же своего героя он намерен был представить вполне сатирически, находя такое решение самым выгодным для яркости впечатления, тем более что он чувствовал в себе склонность и силу именно сатирического изображения разных порочных человеческих сторон. Одним словом, Федор Михайлович весь погрузился в размышления о своем комическом романе, которому он приписывал решительное значение. В каждую свободную минутку не спеша занимал он на бумагу то портреты новых своих героев, то какие-либо сцены, то отдельные маленькие замечания по поводу того или другого лица или события. А на события — самые неожиданные и быстро входившие — он становился все изобретательнее и изобретательнее. Комический роман писался необычайно медленно, но зато с большими тонкостями и расчетом в каждом слове. И вскоре определилось и заглавие его — «Село Степанчиково и его обитатели».

Чрезвычайно прельстило Федора Михайловича это самое заглавие: «Степанчиково»... Оно показалось ему оригинальным и каким-то манящим и беззаботным. Оно было не просто «Степановым», каким назывался его ротный командир, или «Ивановым», или прочими надоевшими всему свету названиями, а каким-то кружившимся и вертящимся «Степанчиковым», не «Иванчиковым», а именно, именно... «Степанчиковым». И именно в нем, по мнению Федора Михайловича, и можно было предположить суetu всяких намеченных им расчетливых душонок, ласкающих друг друга своими когтями.

Но до чего все эти литературные тревоги и радости были обставлены десятками преград! То строевыми

учениями, то караульной службой, то канцелярскими занятиями заполнялись дни Федора Михайловича, и не было ему возможности полностью отдаваться первейшему своему делу. К тому же надо было урывать время и для общения с живыми и нужными людьми. Как никогда тут, в таком отдалении от всего близкого, в такой скованности, он нуждался в живом человеческом слове и участии. Его он нашел в семействе Степановых, особенно у добрейшей Анны Федоровны, а вслед за нею был приближен и к семье подполковника Белихова. К тому он также несколько раз захаживал, будучи приглашен самим батальонным командиром, испытанным холостяком, и его престарелой матерью. А в одно из воскресений его позвали на именинный пирог, и Федор Михайлович, счистив со своей серой шинели малейшие пылинки и отгладив свою куртку со стоячим красным воротником и красными суконными погонами, отправился к **Белиховым**.

Он застал там немалое пьющее и веселящееся общество.

Кроме нескольких старых офицеров в подполковнических и капитанских чинах и их жен тут сидели несколько городских чиновников, учитель из местной уездной школы, старик аптекарь из казенной аптеки и несколько девиц и молодых людей.

Федор Михайлович совершенно смущился, войдя в заполненную людьми, довольно большую столовую, посреди которой стоял длинный стол, весь занятый яствами и посудой. Сделав несколько нетвердых шагов, он вдруг споткнулся о ковер, однако, оглядевшись, привел свои чувства в полный порядок. Он вообще никогда не чувствовал себя спокойным среди множества людей, а сейчас, загнанный в каторгу и все еще пребывавший в солдатском плену, никак не мог достичь равновесия и непринужденности в своем поведении.

Однако он и не отступил перед чиновным мондом. Он быстро почувствовал на себе стремительные взгляды всех присутствующих, мгновенно обернувшихся к нему, едва он показался на пороге. И это внушило ему мысль, что он тут не из последних, а в своем роде

предмет особого интереса и любопытства. Все были уже наслышаны о « рядовом » линейного батальона, столь примечательном своей биографией и столичной репутацией.

Сам подполковник Белихов, а за ним и его старуха мать, а вместе с тем и Анна Федоровна подскочили к нему и, обрадованно улыбаясь, усадили за стол между двумя чиновниками — одним старым, с седыми пучками бровей и с широкой лохматой бородой, и другим, еще молодым, но чрезвычайно худым и бледным. И Федор Михайлович, постепенно разглядев всех сидевших и говоривших, втянулся в общий разговор и шум. Старый чиновник сразу так и обратил внимание на усевшегося рядом соседа в солдатской куртке, догадавшись, что это и есть тот самый сочинитель с коварной фортуной, о котором он уже слыхал у Белиховых. Он оглядел солдатское сукно и пуговицы Федора Михайловича и, видимо, сделал про себя какие-то великолушные выводы, так как вытер клетчатым платком свой нос и с притупившейся ласковостью, какая свойственна многим старикам, прохрипел:

— Весьма польщен познакомиться с вами...

Вслед за ним и молодой чиновник с бескровным лицом, в темно-синем и весьма поношенном сюртуке, поспешил также почтительно отрекомендоваться:

— Александр Иванович Исаев, имею честь... многое слыхал... и чрезвычайно заинтересован... можно сказать, даже тронут вашим положением... Ну как же вы сейчас себя чувствуете?

— Попечением добрых людей, — ответствовал Федор Михайлович, оглядываясь то в правую, то в левую стороны, — здоров и согрет. Благодарю вас...

— А у нас тут глушь превеликая, как вы уж, вероятно, заметили. Кругом — степь, пыль да ветер. Иссохла земля. Один Иртыш — наше, можно сказать, украшение, да еще два-три дачных местечка...

— Иртыш — великий дар природы, — согласился Федор Михайлович, оживляясь в лице и как бы что-то вспоминая. — Я с ним нразлучен вот уж пятый год. И как погляжу на него, так весь и затрепещу, так и устремился бы вместе с ним, так и полетел бы...

— И полетите, — меланхолически, словно про себя, произнес чиновник несколько нетвердым голосом. — Не навек же вы тут... Смею уверить вас.

— Я-то и живу этой верой...

— А вы не торопитесь, — продолжал размышлять Исаев, допивая из толстой граненой рюмки вино, — торопливость вредит делу. У нас в Азии время никуда не торопится. И все спешат — каждый по своим надобностям... И я тоже... всегда спешаю.

Федор Михайлович был не на шутку растроган ласковым и утешительным тоном Исаева, который в заключение своей внезапной беседы пригласил нового и занятного знакомца посетить и его скромное семипалатинское жилище.

— А уж как жена будет рада! — добавил он, выказав в полной мере свое гостеприимство и доброту.

Федору Михайловичу надлежало только отблагодарить чиновника за открытость души, и в первый же свободный вечер он не замедлил установить новое семейное знакомство, благо Исаевы квартировали у какого-то дьячка неподалеку от его холостяцкой квартиры.

У Исаевых было три небольших комнаты с застекленной галерейкой, давным-давно покосившейся павбок. Одна комната, наибольшая из всех, была столовой и вместе с тем и гостиной, а две других, поменьше, служили спальней и детской, в которой рядом с кроватью и маленьким столиком расположил своих картонных коней, повозки и прочий детский «инвентарь» бойкий и шустрой Паша, мальчуган лет восьми-девяти, единственный сын Исаевых.

Александр Иванович нескованно обрадовался приходу гостя, которому он считал за должное оказывать особое внимание и уважение.

— Очень рады и обязаны вам, — хрипло заговорил он, увидя тут же заторопившуюся к дверям свою жену. — Моя супруга Марья Дмитриевна, — отрекомендовал он и добавил с некоторой приподнятостью: — Прошу к нашему шалашу.

Федор Михайлович молча пожал руки своим новым знакомцам и с приятной застенчивостью прошел в

большую комнату, а Александр Иванович тем временем успел заскочить в спальню и принести маленькую, с вышивками, подушечку, какую и водворил на кленчатый и доживавший, видимо, последние годы диван, указав тем самым уютное местечко для пришедшего гостя.

Разговор не замедлила завязать Марья Дмитриевна, сообщившая прежде всего, что муж ее, Александр Иванович, служит по таможенной части, но что его дела и разъезды чрезвычайно вредят его здоровью, а между тем жалованье весьма и весьма скучное.

— Грудью страдаю, кашель одолевает... — стал пояснять тут же Александр Иванович, но сильный приступ кашля вдруг прервал его речь, и, подавленный им, он отошел к окну.

Федор Михайлович с тревогой следил за этой сценой и на лице Марии Дмитриевны подметил болезненные черты привычного испуга и давних страданий.

У Александра Ивановича врачи находили уже несколько лет развивавшуюся чахотку и решительно запрещали ему употреблять всякие спиртные напитки. Однако Александр Иванович презрел все советы лекарей и продолжал пить, иногда весьма неумеренно. Болезнь его все более и более истощала его.

Марья Дмитриевна по этим причинам с каждым днем становилась все беспокойнее и раздражительнее. Муж вызывал своим неосторожным поведением прямое недовольство, а жалости к нему у нее оставалось уже едва-едва, где-то на самом донышке... Она роптала на свою судьбу. К тому же ее донимали дурные сны, еженощно и всегда обязательно под утро увлекавшие ее в какие-то пропасти, из коих она никак не могла и выбраться.

Федор Михайлович, однако, сразу же заметил в ней черты, выгодно отличавшие ее от мужа, хотя и к Александру Ивановичу он не менее пылко почувствовал приязнь, как к любезнейшему, хоть и безалаберному и опустившемуся, человеку. Марья Дмитриевна первым делом обратила на себя внимание своей образованностью и тем внутренним трепетом души, какой был свойствен и самому Федору Михайловичу, чело-

веку, взбудороженному всем течением событий в не-стройной и коварной жизни. Она говорила со страстью торопливостью, словно всегда боясь чего-то недосказать, что-то весьма важное пропустить... При этом на лице ее, довольно бледном, неустанно отражалась приятная оживленность, а впалые щеки покрывались румянцем, выдававшим присутствие какой-то затаенной болезни.

— Представьте себе, в сырой день, на дворе туман, мокрый ветер, а мой благоверный на службу отправляется без пальто... И никакие уговоры не действуют, — жаловалась она на упрямство своего мужа, садясь на плетеный стул перед Федором Михайловичем. — Он не бережет себя, не бережет сына, а уж о себе я и не говорю. Я считаю, что муж должен слушаться жены, — должен, должен, не правда ли, Федор Михайлович?

— Да, да, конечно, — с неловкостью вставлял Федор Михайлович. — Само собой...

— Да не верьте ей, любезнейший Федор Михайлович, — защищался, вскидывая плечами, Александр Иванович, — я вполне послужен Марье Дмитриевне, уверяю вас, — потому она для меня была и есть благодетельница. Но коли стоит на улице этакая приятнейшая теплота, так как же прикажете мне быть?.. Да иначе и невозможно-с...

Так продолжался добрый семейный спор, видимо не обещавший кончиться к обоюдному согласию. Но Федор Михайлович извлек из него тот вывод, что у своих новых знакомых супругов он может вполне пользоваться тихим расположением и той теплой и ласковой простотой в обращении, какая именно и нужна была ему.

Марья Дмитриевна пустилась в расспросы, как прстерпел и перенес Федор Михайлович все свои удары жизни, как он очутился в Сибири и каковы его обстоятельства и намерения сегодняшних дней. Федор Михайлович был чрезвычайно польщен таким интересом и вниманием и живо почувствовал, как благодарный порыв охватил его сердце и как захотелось ему

в своем одиночестве поведать новым друзьям о некоторых мгновениях своих прошедших лет.

Он обрадованно заговорил, поминутно раздумывая и останавливаясь, что-то припоминая, многое хваля, но больше всего многое в себе осуждая, а пуще всего выставляя на первый план свои каторжные годы, их угрюмы мысли и подавленные чувства.

Александр Иванович сидел у окна, подперев правой рукой подбородок и изредка с умилением взглядывая на диван, где расположился Федор Михайлович. А Марья Дмитриевна, словно читала какую книгу, следила вполглаза за малейшими движениями лица Федора Михайловича, так что он ясно чувствовал ее затаенные наблюдения. Перед ним сидела женщина, понявшая муки незнакомого человека, встретившегося ей на пути, и, будучи сама утомлена нуждой и горем, она отгадала в нем безмерное желание покоя и забвения всей нескладицы жизни.

Марья Дмитриевна — сердце младенческой доброты

Вскоре Федор Михайлович стал чувствовать себя у Исаевых как в собственном доме. Пригретый и обласканный Марьей Дмитриевной и Александром Ивановичем, он в каждый вольный часок так и норовил очутиться в их жилище и почувствовать себя совершенно равным всем людям, обладающим правами свободно двигаться по земле и беспрепятственно дышать воздухом.

Федор Михайлович почел своим долгом давать уроки маленькому Паше; Марья Дмитриевна не раз жаловалась: отец нерадив к мальчику, не любит учить его, и мальчик не привязан к отцу, особенно ввиду того, что воспитатель часто бывает нетрезв и непочтителен к матери, а мать окончательно извелась, теряя при каждом запое мужа свое «ангельское терпение» (так она его называла).

Жизнь в доме Исаевых была коварнейшим образом сплетена из многих и многих радостей, но более всего из печалей. Федору Михайловичу не раз

доводилось слышать тихий, приглушенный плач в спальной супругов. Иной раз он подолгу сиживал в столовой после уроков с Пашей и читал какую-нибудь занятную повесть, а дверь в спальню бывала в тот час закрыта: Марья Дмитриевна там тихонько возилась с какими-то делами, что-то перебирала, что-то неслышно укладывала, и вдруг все внезапно замолкало, и наступали минуты полнейшей тишины. Она, видимо, усаживалась в свое кресло с пунцовой подушечкой и, видимо, о чем-то задумывалась, что-то, быть может, вспоминала, какие-нибудь картинки из своей астраханской безмятежной жизни в родительском доме, и так проходило в безмолвии десять, двадцать, тридцать минут, пока не доносился в столовую еле-еле слышный протяжный стон, какое-то неудержимое и сдавленное рыдание, какой-то тревожный шепот, с осторожными вздохами, так, что никто не мог ничего и услыхать.

Но Федор Михайлович невольно прислушивался к затаенным вздоханиям и, слыша их, вполне понимал, что у Марьи Дмитриевны приступ жестокой горечи и тоски, что в памяти ее вспыхнули недавние обиды и вдруг сразу представилась вся целиком нескладность ее жизни, оскорблявшая чувство ее собственного достоинства.

Однако она умела и своевременно сдержать свое волнение, несмотря на постоянную возбужденность и всегдаший страх перед жизнью.

Вполне овладев собой, она выходила из спальни и как бы продолжала ранее начатый разговор:

— Город-то наш, Федор Михайлович, весь сложен из сплетен и пересудов. Мужчины все пересуживают: им мало денег, им не хватает трактирных заведений, — и все посему чертыхаются. А женщины — еще неумытые и непричесанные, а уж бегут пересказать приснившиеся за ночь новости, особенно по амурной части. Судите сами, где и у кого можно тут набраться ума.

Марья Дмитриевна имела свойство говорить быстро и при этом в нервическом возбуждении густо пересыпала свой рассказ язвительными замечаниями. На

вид это была женщина среднего роста и средних лет, со светлыми волосами, разделенными посередине пробором; она была не так чтоб интересна, но и не дурна собой; на довольно тонком ее лице иной раз играла едва заметная, как бы таившаяся от людей, улыбка, а в этой улыбке было заключено, казалось, давнее недоверие к жизни и даже горькая ирония; в светлокарих глазах можно было уловить какой-то необычный, раздраженный блеск; бледные щеки часто покрывались чуть розоватым, нездоровым румянцем.

Она подошла к столу и села против Федора Михайловича. Говорила она тонким, вырывающимся из глубины души и иногда срывающимся голосом и речь свою сопровождала непременными жестами: руки ее никак не могли спокойно относиться ко всему тому, о чем она всегда с привычным недоумением или с испуганностью сообщала.

По всем ее движениям и по речи видно было, что она многие уже годы жила поперек судьбы, в страхе за каждый день, омраченный то горькой нуждой, то недугами мужа (а к тому же и своими собственными недугами), то озорством отбившегося от рук сына. Немало обливаясь по этим поводам слезами, она в отчаянии прибегала к последней помощи — к молитвам господу богу, хотя, глядя на этот мир, весьма сомневалась в том, принадлежит ли он богу.

— Вообразите, Федор Михайлович, вот вы... — не робея уже, выкладывала она свои горести и страхи, — вот вам бы сказали добрые люди: зачем, мол, вы колотите ежечасно и ежеминутно свою собственную жену, в то время как вы ни одним ноготком к ней не прикасаетесь — даже в порывах своего недовольства. Ну как бы вы все это... всю эту небылицу определили б? А вот по нашему городу пущен слух, будто Александр Иванович потерял всякую совесть и колотит меня...

— Да не оскорбляйтесь, Марья Дмитриевна, перед судами бесчестных людей, — нетерпеливо вставил Федор Михайлович.

— Не могу, нет терпения все это слышать. Ведь Александр Иванович комара не обидит. Горе у нас то,

что он пьет, и губит себя, и семью свою губит, а когда пьян, голосит, что взбредет на ум, и тем самым и по-вод подает говорить о себе всякие небылицы. Сейчас спит. Уж извините... Отсыпается...

— Да, Александр Иванович — достойнейшая душа. Слов нет, как я благодарю его и ценю, ведь он со мной как с родным братом, — растроганно заметил Федор Михайлович.

— Именно, именно, — подтвердила Марья Дмитриевна, — он добр и потому, когда нетрезв, еще более вызывает раздражение, так как в те минуты бывает и глуп и груб. Если б вы знали, Федор Михайлович, как мне уже трудно прощать все это. Как это все до-саждает и как... безнадежно!

Она откинулась на спинку стула и, взявшись рукой за руку, положила их на колени и тяжко вздохнула.

Федор Михайлович был подавлен признанием Марии Дмитриевны, так что даже и не нашел и не решился что-либо ответить: так все неожиданно вырвалось из самой души страдающей женщины и требовало каких-то особых ответных и утешительных мыслей. Он многозначительно задумался. Задумалась и она.

Время словно остановилось на какие-то минуты, чтобы двое людей, много уже испытавших на жизненном пути, могли выкинуть из памяти в уходящее прошлое все скопившиеся обиды. Они неподвижно сидели, задумавшись и замечтавшись... А за окнами, во дворе, поднялся веселый крик и визг ребят: гурьба мальчишек и девчонок, с Пашей во главе, возилась с большим мячом, перебегая друг перед другом и перекривая один другого. Паша проворнее других ловил мяч и мгновенно забрасывал его прямо к черному, погнившему забору, куда летели наперегонки и все остальные сорванцы. Крик и визг прорывался сквозь стекла окон и наполнял собою все комнаты исаевского дома.

Марья Дмитриевна вдруг разняла руки, встала и молча торопливо подошла к окну, вглядываясь в играющих детей.

— Добрейшая душа у вас, Марья Дмитриевна,

сердце младенческой доброты, — сказал Федор Михайлович. — Я хорошо знаю, как жизнь изнурила вас, как вы обижены ею и как раздражены всей судьбой. И тем не менее вы отдаете и семье, и мне, заброшенному сюда, неизвестному вам человеку, да еще и с таким характером, — отдаете так много душевных сил. Преудивительнейшая вы женщина, Марья Дмитриевна.

— Ну уж, и преудивительнейшая! — поспешила опровергнуть Марья Дмитриевна. — Я научена мно-
гому. О, я знаю, что такое люди! Затолкала меня жизнь в сырой угол, Федор Михайлович, вот что! И здоровья мало, и покоя нет.

— А я не знаю, куда деваться мне от мыслей о вашем здоровье и о вашем покое, — мигом перебил Федор Михайлович. — Я в ужаснейшем страхе за вас. И именно потому, что привязан к вашему дому, к вам. И всякий час вижу вас, чувствую вашу протянутую ко мне руку... Протянутая рука — что дороже ее в моей судьбе?! Ведь без этой руки я, верно, одеревенел бы... А теперь я опять, опять человек. — И Федор Михайлович бросился целовать руку Марии Дмитриевны, целовал с жаром, почти что сквозь слезы.

— Полноте, полноте, — растроганно, в прерывистом дыхании, останавливалася слабым голосом Марья Дмитриевна.

— Да вы не знаете, — продолжался наплыв чувств у Федора Михайловича, — что такое вы для меня... Вы веру в жизнь наново вселили в меня. Благодаря вам я нашел ее. Вы душу мою воскресили. Ведь всем идущим в черной тьме свойственно искать света. И я искал его и вот нашел. Нашел, Марья Дмитриевна. Вера — это и есть свет.

Марья Дмитриевна, вся в волнении, села.

— Друг вы мой, да я веру эту сама ищу... С юности и повсеместно искала ее и ищу, ищу, каждодневно ищу... и вот видите, как эта вера моя унижена и попрана... — Голос Марии Дмитриевны тут оборвался, в груди что-то дрогнуло, и на покрасневших глазах заблистали мелкие слезинки.

— Да нет, нет, не может этого быть, — кипел Фе-

дор Михайлович. — Ваша вера жива в вас. У таких людей, как вы, она всегда жива, ибо вы, именно вы как никто сознорены вместе и одновременно с нею и достойны ее и всегда всеми своими поступками и мыслями оберегаете ее, хоть того и не видно вам. Вы носите ее в себе.

— Это очень фантастично, но вместе с тем, если хотите, и совершенно точно, Федор Михайлович. Вера все же живет во мне, — успокоенно согласилась Марья Дмитриевна.

— Ну, разумеется! — выкрикнул, торжествуя, Федор Михайлович. — Вас сами ангелы водят по земле. И гнев судьбы вы смирайте, непременно смирайте. Такова уж ваша сила любви. А люди любят, когда их любят, — да и как еще любят!

Федор Михайлович счастлив был, излив свои горячие чувства. Воротившись домой, он ухватился за новый повод — еще и еще подумать о своей судьбе, до странности, до невероятного переменчивой и эксцентрической. И вот опять удивительная встреча в пути, думал и думал он. Семья, хоть и сама раздраженная, но приласкавшая его и отдающая ему сейчас весь жар души. Александр Иванович — мягчайшего нрава человек, любит его, как кровного брата, одно лишь горестно в нем: неразборчив в людях, поддается худой компании и роковой силой посажен в бутылку, без удержу пьет, и страдает, и обливается слезами, и вконец изнурил себя в болезнях; злая чахотка без пощады растревляет его грудь. И каково-то Марье Дмитриевне все это сносить — при ее-то здоровье и бескорыстных заботах! А Марья Дмитриевна, — повторял Федор Михайлович, — это сама доброта во плоти, — как же не боготворить ее... как не поддержать ее дух!

С умилением он перебирал все говоренные ею слова, припоминал все ее намерения и движения и приходил в полнейшее беспокойство и даже отчаяние при мысли о ее незаслуженных тяготах жизни, о всех ее выживших за долгие годы испытаниях.

— Ведь как она согрела меня своим теплым словом, — говорил он себе самому. — Пришел впервые к ним, я сразу же был обласкан, утешен и осчастливлен.

Ведь как родная сестра приняла она меня... — Глядя, — разумеется, про себя, в минуты озабоченного раздумья, — в лицо Марии Дмитриевны, Федор Михайлович спрашивал себя: откуда такие печальные огни в ее глазах? Откуда такая впалость щек? И почему всегда так порывисто вздыхается ее грудь и так нервно ходят у нее руки и пальцы? Федор Михайлович приимечал все ее* движения и особенно старался уловить улыбку в ее губах. Но улыбок было мало. Утомленность долгих лет словно сковывала очертания ее губ.

— У меня мало было настоящей жизни, — говорила она, — живу воспоминаниями детских лет. Они хороши и ласковы. Они греют меня и сейчас, когда солнце не светит ни одним лучом... И не знаешь, чем жить дальше.

Федор Михайлович никак не удерживался, чтобы не перебить ее в таких случаях, и торопливо начинал в чем-то ее разуверять и опровергать: отгоняя прочь немалую озадаченность ее словами, он изливал воссторг перед ее терпением и покорностью и рассеивал вместе с тем всякими своими давними историями и фантазиями хмурые мысли ее, повествуя про холодное петербургское небо, про свои омские дни и ночи и людское море, шумевшее там от одного утра и до другого, и все до самых мельчайших мелочей припоминал, чтобы разогнать морщины, развлечь ум, утешить сердце и выказать свое благодушие и неистощимую приязнь.

Федору Михайловичу все не сиделось в своей мрачной комнате, все не терпелось скорей выбежать на улицу и отправиться к Исаевым. И он все чаще и чаще забегал к ним. А если не бывало дома Марии Дмитриевны, Александр Иванович самолично в кухоньке мастерил выпускную яичницу и, застлав прохудившейся, но всегда свежей скатертью стол в столовой, угождал Федора Михайловича горячим завтраком, после коего следовал чай с брусничным вареньем, разумеется собственного Марии Дмитриевны изготовления.

Одним словом, Федор Михайлович прирос (именно так он и определял) к дому Исаевых, и это вполне

подтверждалось тем, что, когда он входил в приходящую, лохматая исаевская собачонка Сурька принималась так визжать и вилять хвостом, будто радовалась, что наконец-то Федор Михайлович воротился к себе домой.

Среди всех этих новых привязанностей и знакомств выпало на долю Федора Михайловича и еще одно приятнейшее и неожиданное событие. Как-то вечером, прия от Степановых, у коих он засиделся после всех своих казарменных занятий и изнурительной переписки казенных бумаг, он застал некоего молодого человека, дожидавшегося его и объявившего, что его просит зайти к себе — и именно сегодня — приехавший из Петербурга с какими-то посылками и письмами «господин стряпчий уголовных дел», назначенный на службу в Семипалатинск. И Федор Михайлович, весьма заинтригованный, быстро снова запахнул свою серую, с красными погонами, шинель и отправился в сопровождении молодого человека к приехавшему неизвестому.

Стоял холодный вечер, какой бывает только поздней осенью. Федор Михайлович заметил даже на улице легкие и мокрые следы только что выпавшего небольшого снега. Кругом все было окутано непроницаемым мраком, в городе на улицах не было ни единого фонаря, и Федор Михайлович с особой осторожностью шагал к цели. По дороге он не встретил ни одного живого человека, зато во всех решительно дворах слышался неугомонный лай собак.

Молодой человек привел Федора Михайловича почти на берег Иртыша, к какому-то большому деревянному дому, и ввел его в переднюю, бревенчатые стены которой были, видимо весьма давно, выбелены известью.

Перед собой он увидел довольно высокого человека средних лет, весьма приветливо и даже с изысканной любезностью встретившего его.

— Рад возможности видеть вас и вручить вам письма от вашего брата достоуважаемого Михаила Михайловича и сестер ваших, а также пятьдесят рублей и вот эти посылки, — услышал Федор Михайло-

вич радужный голос незнакомца, назвавшегося Александром Егорычем.

Сердце забилось у Федора Михайловича при виде этих писем и этих посылок от столь дорогих людей я всего этого расположения к нему человека, которого он не знал и который, однако, проявил такое велико-душное.

— Не знаю, как и благодарить вас, — растеряно произнес он, схватив обеими руками руку Александра Егорыча. — Уж так вы меня обрадовали, так потрясли, — продолжал он в неудержимом порыве.

— Я счастлив, уверяю вас, Федор Михайлович, несказанно счастлив, что привез вам все это и вижу вас в добром здравии, хоть и в изгнанничестве. Но времена меняются, и судьбы людей тоже переменчивы...

— О, да, да! — вставил Федор Михайлович каким-то вздрогнувшим голосом.

— Судьбы неисповедимы, — уверенно дополнил Александр Егорыч. — В наш век человек должен обладать готовностью ко всему: ведь земля — смесь добра со злом; кого судят, а кого прощают, кого позументами обшивают, а у кого шерсточку обстригают. Вот так-то, дражайший Федор Михайлович. Говорю так потому, что знаю не одно только свое, а и многое чужое — по роду своей деятельности. Знаю, Федор Михайлович, что и вы не по ровной дорожке пошли. Слыхал, обо всем слыхал в Петербурге... И брата вашего, всъема уважасмого, знаю. И читал ваши сочинения. Как сейчас помню и «Бедные люди», и «Несточку Незнанову»... Преинтересные повести, без всякой лести сказать надобно.

— Очень, очень польщен и ценю, горячо ценю ваше благорасположение... Это так все достойно признательности, — был в восторге и изумлении Федор Михайлович.

И с того вечера у него завелся еще один новый его собеседник, скоро сблизившийся с ним, скоро ставший его советчиком, его помощником во всяких житейских переломах, даже его другом, которому он поверял и некоторые тайны своей души. Таким именно вскоре и стал Александр Егорыч.

Мольба о счастье

В ранний час Федор Михайлович вышел на улицу в намерении совершить небольшую утреннюю прогулку и размыслить о своих неясных чувствах. И, как всегда, и на этот раз душа его была полна каких-то ожиданий: так многое хотелось ему, так многое не прикоснулось еще к его жизни, одарив его полным своим вниманием и лаской. Каждый час он помнил, что все предшествующее его время было цепью душевных приключений и всяких жизненных испугов. Испуг за испугом преследовал его по пятам. И даже восторженная похвала Белинского приключилась для него, по его бесповоротному мнению, как особый душевный испуг, столь внезапно потрясший его.

Сейчас же ему мучительно хотелось тихого и теплого счастья и совершенно безмятежного течения времени. Да, Федор Михайлович и сам того, быть может, не заметил, как был пленен мыслями о своем, до сего времени не встреченном, счастье, в котором любовь, именно любовь стала бы первейшим поводом для того, чтобы дальше жить. Он думал о страстной и всеобнимающей любви. Он приходил к выводу, что счастье невозможно без такой именно любви и что нет ничего выше на свете счастья семейного. Он убеждался, наконец, в том, что с мыслями о любви все более и более сливаются у него образ Марии Дмитриевны, хранящей про себя великое горе жизни. О, что бы он дал, чтобы сделать это горе счастливым! Что бы он дал, чтобы достойнейшим и возвышеннейшим образом вознаградить ее за все заботы о нем!

Тоска по необходимому счастью совершенно поглотила его, и он все искал в мыслях, как ему сегодня увидеть завтрашний день.

Он шел, дыша полной грудью и наслаждаясь свежим утренним ветерком. Заря, широко разлившаяся над дальними изгибами Иртыша, будто предвещала и обещала это его счастье. На небе сутились оборван-

ные с разных концов облака, и солнце косыми лучами ловило их прятавшиеся очертания. Федор Михайлович останавливал свой взор на одном облачке и следил, как оно хмурилось, двигаясь в тени, и как вдруг внезапно вспыхивало розоватым светом, опаленное теплым лучом. Он подметил, как оно на мгновенье словно замешкалось и отстало от своих собратьев и все почернело, закрытое от солнца. Но вдруг снова целый сноп света упал на его пухлые края, и оно все затрепетало, приласканно горячим сиянием.

Федору Михайловичу думалось, что лучи непременно проникнут и в его угол, и осветят его, и он еще покажет всем, что он не последний в мире и не заброшенный человек.

В размышлениях о своей судьбе он подошел к церкви, поднялся по ступенькам и, входя в открытую настежь и покривившуюся дверь, почувствовал гнилой, застоявшийся запах сырости, смешанный с ладанным куревом. В церкви шла ранняя обедня, и налево и направо от входа стояли несколько человек. У царских врат голосил низенький дьякон с рыжеватой бородкой.

На свои медные гроши Федор Михайлович купил десяток свечей и у алтаря, перед образами Иисуса, Богородицы и Николая Мирликийского, стал по порядку их зажигать и расставлять. Неторопливо, с благоговейностью, долго и тяжко вдумываясь в каждое свое движение и повторяя с каждой новой зажженной свечкой свои мольбы ко всевышнему, к Богородице Марии и к Мирликийскому Николаю, он с тихой осторожностью и боязливой внимательностьюставил свечи одна за другой, отдаваясь всеми чувствами своей вере и обещая чтить Христа, и Богоматерь, и Мирликийского Николая, и всех отцов церкви, — только бы она, она не отвергала бы его, только бы силы небесные уготовили ему его долгожданное счастье и она откликнулась бы на его зов.

Он отошел от алтаря и зажженных свечей и стал поодаль от молящихся, возле клироса, где хор отвечал дьякону своими подкрадывающимися, приглушенными голосами. Неслышно он продолжал взывать, молить, верить и надеяться, при этом устремляя глаза

к алтарю и торопливо крестился, старательно сжимая три пальца правой руки.

Он молил не отвращать взора от его судьбы, столь коварно игравшей с ним в угрюмых азиатских степях; он шептал о том, что слишком много уже претерпел и сейчас решил наконец согреть свою душу и обрадовать ее... Всде и самый малый русск, внушил он себе, ис-пременно находит себе дорожку и даже устремляется на какой-нибудь цветистый лужок, а он все еще не знает дороги к счастью и никак и никем не обласкан и не согрет. А между тем на лбу у него уже легли три глубокие морщинки, и он решительно полагает, что пришла и для него пора стать моложе своих лет, выйти из жестокой духоты на некий простор и вообще... прибавить шаг. Это право он считал уже вполне принадлежащим себе.

Он никого не обвинял, хотя мог бы и обвинить и даже произнести полный приговор над всеми превратностями жизни; он лишь про себя роптал и более того — склонен был во всем обвинять себя, хотя и не просил ни у кого никакого прощения. Однако разгоряченная мысль, уносясь под сырые и посеревшие своды церковки, нетерпеливо взывала к справедливости: пусть наконец блеснет хоть одно, хоть маленько мгновенье, но чтоб оно согрело счастьем, — безмятежным и беспредельным.

Медленным шагом, пытаясь утешить растревоженные чувства, возвратился Федор Михайлович к себе домой. Он сел у стола, на котором лежали рядом с гусиными перьями исписанные листки бумаги, стоял давно немытый графин и на тарелке были разбросаны кедровые орешки с медом — любимое его лакомство. В комнате было тускло и серовато. Нечастно было и на душе у него. Что ж, думал он, надо пересоздавать жизнь на совершенно новый лад. Нужна наконец положительность... Но какая? В каком смысле? И с какими людьми? Кто, кто разделит затаенную идею и уравновесит все чувства так, чтобы не сбиться с пути? Мысли Федора Михайловича бродили где-то рядом с Марьей Дмитриевной, но страшились прийти к какому-либо выводу, видя весь тупик, весь неприступ-

ный оборот жизни. Однако чувства неудержимо ширились и не ждали прилета какой-либо волшебной птицы, которая помахала бы своим хвостом и озарила бы сияньем его неведомую тропу. Он предался этим чувствам и, сторонясь от людей, даже прячась от многих, совершенно сжился с домом Исаевых и с добродушным Александром Егорычем. Едва наступали часы, свободные от караулов у порохового погреба или казначейства и прочих весенних занятий, как он непременно уже бывал с ними. В долгие зимние вечера он от всей полноты души изъяснялся в преданности Марье Дмитриевне, а заодно и Александру Ивановичу, если тот бывал вполне трезв и благорасположен.

Хлопота у самовара, Марья Дмитриевна не отрывала свой тихий взгляд от Федора Михайловича и доверчиво прислушивалась к его речи. Она давно заметила в нем особое расположение к себе и с простодушием наслаждалась теплотой его слов, видя в них желанный отклик на свои заботы о нем. Это не была пустая сердобольность. Интерес к человеку, признание его права на участие других в его трудных обстоятельствах и одиночестве, женская пытливость и потребность согревать теплотой своего сердца — этими именно достойными свойствами натуры была движима Марья Дмитриевна. Федор Михайлович и был потому уверен, что нашел того, кто мог бы ему ответить и действительно отвечал уже на неудержимые порывы его души.

Но ответы на эти порывы были исполнены чрезвычайно неясных и каких-то невыразимых, каких-то недоуменных волнений и предчувствий. Марья Дмитриевна все более и более проникалась участием к Федору Михайловичу и без удержу, хоть и осторегаясь выплакать сполна все свое горе, занимала его разговорами на неминуемые и при этом весьма обстоятельные темы, не боясь даже заговорить о самых необъявляемых семейных заботах, каждодневно досаждавших ей. Однако обо всех домашних помехах она повествовала с неизменной гордостью и сознанием того, что все они, эти помехи, никак ею не заслужены и она в них никак не виновата.

Федор Михайлович бывал всецело предан таким благородным выводам Мары Дмитриевны и внимал ее словам с полным проникновением в нехитрые, однако же и весьма запутанные и крутые обстоятельства. Он подмечал всю ее раздраженную мнительность и экзальтированность, с давних лет развившиеся. Он озабоченно жил всеми тягостями полюбившегося ему семейства: и всегдашними недостатками средств для простого ежедневного существования, и тонкими обстоятельствами разлада между мужем и женой, придавленной болезнью, высохшей от забот, истерзанной запоями благоверного и недужного супруга, и беспокойным, озорным поведением маленького Паши, и прочими и прочими большими и малыми неурядицами, с утра до вечера преследовавшими весь строй неказистой жизни.

Но еще более того Федор Михайлович жил и мучился всякими своими неожиданными предположениями и соблазнительными догадками, всякими замеченными им странностями в распорядке дня и в самом поведении несчастливых супружей. Не уставая откликался он на все высказанные и невысказанные мысли Мары Дмитриевны, и в его откликах всегда бывала заключена сострадательная любовь и какое-то трепетное желание помочь, — помочь во что бы то ни стало, какой угодно ценой и какими угодно муками. И когда он убеждался в том, что никак и ничем помочь нельзя, что создалось положение без всякого выхода, он задумчиво и страстно молчал и только ловил взоры Мары Дмитриевны, которая тоже молчала, глядя с застенкой тоской и так же упорно в лицо Федору Михайловичу. Взоры их в эти полураскрытые минуты были какие-то загадочные, какие-то вопросительные и даже пугливы, словно они не на шутку в случившихся нечаянных обстоятельствах боялись друг друга и даже избегали встречаться мыслями и желаниями.

Марья Дмитриевна перебирала про себя все обескураживавшие ее картинки жизни, и ее страдающее самолюбие гневно шептало ей: не все же тебе думать о рублях да копейках! Не все же силы тратить на домашние невзгоды и прорехи?! Той же самой жизнью,

что опостылела тебе, послан в твою семью человек с широкой душой, с требовательным и ласковым умом; окажи ему полное доверие и прими его заботы и всю благодарную теплоту его слов; услыши и пойми, если можешь, все беспокойство его горячего сердца. И Марья Дмитриевна уже тихонько понимала, каков он, этот «рядовой» солдат, каков он на этом семипалатинском мелкодворье. Она благодарно и осчастливлена думала о нем, всегда ждала его и видела в нем знамение добра и благородства. А в часы уединенной грусти, когда никого не было дома, когда можно было до полного экстаза предаться размышлениям о собственных страхах и муках, о своих семейных печалях, она не стыдясь и даже с какой-то радостью, с каким-то особым удовольствием говорила себе: «Тут нужны слезы и только слезы...» — и эти слезы лились и лились из ее покрасневших глаз.

Весьма смутно и тревожно было и в чувствах Федора Михайловича. Казарменная субординация и разные «выправки» изнурили его вконец. Благо начальство делало ему всяческие угождения и льготы, а новый его ротный командир, капитан Гейбович, весьма расположенный к нему, даже освободил его от караулов, и он, чувствуя себя в таких обстоятельствах неизменно в чем-то виноватым и кому-то обязанным, ускользал все же от наблюдений своего фельдфебеля и отдавался пространным суждениям о пресвратностях человеческого счастья и о собственных своих намерениях сегодняшнего дня. Разумеется, самые стремительные мысли неслись к Марье Дмитриевне. Кто она для него? — задавался уже не в первый раз щекотливый и тут же надламывавшийся вопрос. Неужели она, никак того не желая, доставила ему самую старую и общепризнанную радость на земле — любовь?! Неужели в косые лучи его жизни вдруг пробился этот новый свет, еще никогда им не виденный и даже ранее не представляемый? И что надо г этим светом делать? Как оборотиться и как поступить? Ведь без него жить уже было невозможно. А жить с ним — для этого Федору Михайловичу нужны были особые права. Голова его шла кругом.

Сидя у себя за письменным столом, он, словно улавливая зарницы в ночной тьме, часто перебирал давнишние запасы памяти и задумывался над своими каторжными записками, которые намечал сделать большим сочинением о людях преступного мира,— между тем умиленные мысли о Марье Дмитриевне перебивали внимание к старым клочкам бумаги, исписанным в крепости грязного городишко Омска. Воспоминания нестерпимо медленно ложились на новые и новые страницы. Среди ночи он отрывался от них и шагал из угла в угол по своей комнате и, забывая о прошлом, все расчислял свое настоящее, вдруг наполнившееся новым смятением и тоской. Перед ним никогда не исчезал гордый облик Марии Дмитриевны — ее всегда оживленный взгляд, хоть и полный забот и тревог, с синевато-каштановыми волосами, привычно и умело заплетенные, ее торопливая и настороженная речь, в которую он вслушивался до полнейшего самоотдания. И порой ему казалось, что ему и Марье Дмитриевне дана одна душа на двоих.

Все беспокойнее и беспокойнее думал Федор Михайлович о своем поверженном состоянии и наконец решился поведать о нем новому другу своему Александру Егорычу. К нему он возымел уже некую приязнь, так как уверился в его доброте и в самых неподдельных чувствах. Александр Егорыч вполне оправдывал доверие Федора Михайловича. Он уже успел достаточно определить весь круг желаний семипалатинского изгнанника. Он догадался, что у Федора Михайловича не коротенькая потеха, а целая буря в душе, и проникся горячим стремлением всячески способствовать фортуне уязвленного самолюбца и направить его на новый путь, вполне приличествующий его намерениям и талантам.

Однако испытание обильных и взбудораженных чувств Федора Михайловича представилось Александру Егорычу весьма и весьма трудным. Он решил применить единственное, по его мнению, возможное средство — некое отвлечение своего молодого друга от мучительной тоски и обременительных хлопот сердца. Для этого он приохотил Федора Михайловича к своей

даче, арендованной им под городом, у богатого купца-казаха. Впрочем, это была не только дача, а целое имение на высоком правом берегу Иртыша, за Казацкой слободкой, с обширным огородом и садом, обнесенным высоким забором, с прудами и конюшнями, и люди называли его «Казаков сад».

Ранней летней порой Александр Егорыч привез Федора Михайловича на эту дачу на своем маленьком тарантасике — «долгуша». После очередной муштровки в батальоне Федор Михайлович очутился на свежем лоне чудесной природы, среди лугов, прибрежных кустарников и зарослей ивы и первым долгом выкупался в Иртыше. А потом, забросив подальше солдатскую шинель и оставшись в одном своем полинявшем ситцевом жилете, он с неожиданной горячностью завозился в огородах и цветниках Александра Егорыча. Из Риги были выписаны семена овощей и цветочные луковицы, и в нестерпимую летнюю жару перед самым домом Казакова сада зацвели хлопотливо огороженные цветники с астрами, левкасиями и георгинами, и все это было в немалой степени делом рук Федора Михайловича, который бережно следил за рассадой и в сухие дни от всей своей нетерпеливой натуры все ее поливал и поливал. Жившие по окрестностям и проезжавшие мимо дачи люди непременно останавливались у этих цветников и разглядывали диковинные, не виданные дотоле в Семипалатинске прихоти природы.

В свободные часы Федор Михайлович неоднократно появлялся на даче Александра Егорыча и отдавался всем целительным забавам, на которые Александр Егорыч именно и возлагал какие-то надежды. Мало того — заботливый друг уводил нередко Федора Михайловича в лес, где бывало изобилие мамуры, облепихи и лесной земляники, и потчевал его новейшими столичными анекдотами и всякими достойными внимания рассказами и воспоминаниями из своих судебных встреч и похождений. Федор Михайлович любил выслушивать все такие всамделишные приключения и частенько даже записывал их у себя в особой книжечке, с которой никогда не расставался.

Однако вся добрая затея Александра Егорыча ока-

заялась в высокой степени наивнейшей, и никакие занятные анекдоты и огородные хлопоты не отвлекли и не могли отвлечь растревоженные чувства Федора Михайловича ввиду того, что они, эти чувства, были, по его собственному заверению, зависимы от какой-то «тайной власти», о которой впервые, как ему помнилось, заговорил еще Лермонтов. Что это за «тайная власть», Федор Михайлович не решался пояснить, однако «тайная власть» продолжала быть «тайной властью», и тут Федор Михайлович ничего поделать уж не мог. К тому же самому заключению о губительной роли неизвестной, но коварной власти пришел и любезнейший Александр Егорыч, который все же продолжал развлекать Федора Михайловича наплывом своих воспоминаний, угощая его при этом шепталой и выписанными из Казани конфетами, засахаренными ананасами и ржевской пастилой (следует тут оговориться, что о таких угощениях в Семипалатинске даже и не слыхали и не подозревали...).

Еще один поворот судьбы

В воскресный день Федор Михайлович возвратился как-то из Казакова сада в город и, разумеется, направился прямо к Исаевым. В руках он держал весьма увесистый сверток, который был положен на пол в прихожей комнате. Он постоял перед висевшим на стенке овальным зеркальцем, пригладил свои мокрые волосы (а днем его порядком изнурил нестерпимый зной), вытер потное лицо и шею и прошел в столовую.

Марья Дмитриевна сидела у окна на плетеном стуле, с иголкой в руках.

— Чиню своему Пашеньке брючки. Немилосердно пачкает их и рвет.

— Уж вы-то всегда себе дело найдете, Марья Дмитриевна, — заметил Федор Михайлович. — А с Пашенькой надо бы поостроже быть, ведь мальчуган неумеренно шалит и капризен стал донельзя.

— Легко ли это? Одной мне с ним не управиться, а отец... Пашка и ухом не ведет. Тут надобно влияние

отца, а влияния нет. Все тут у нас наоборот. Александр Иванович, когда трезв, начнет сыну выговаривать, а тот скорчит гримасу — и вон из комнаты, во двор иль на улицу. А когда отец придет, сильно выпивши, сидит, угрюм и неподвижен, что-то напевает про себя и грозит всему миру, — Пашке хоть бы что, ходит на голове. Я прикрикну на него, а в груди у меня так все и задрожит. И нет сил. Вот, Федор Михайлович, наши начала и концы, как вы иногда выражаетесь.

Марья Дмитриевна с искривленной иронической улыбкой встала, отложила починенные брючки в сторону и унесла медный чайник в кухню — согреть своему неизменному гостю ханского чайку (а он приберегался специально для Федора Михайловича).

— Да, Марья Дмитриевна, — с горечью в голосе рассуждал Федор Михайлович, — вот, казалось бы, идти надо человеку к радости, идти и идти, — без радости-то и жить невозможно, а поди ж ты, — от жизни несет такой сыростью, что ты непременно становишься хмур, гневен и страшен. Ну и забавляешься — кто водкой, что несбыточными снами, кто грабежом у честных людей, кто непомерной болтовней и прочими, и прочими страстями и шутовством. И вот за одним поколением шагает такое же другое, и из века в век вот так и изворачивается человечество. Одни погибают, другие идут к погибели. Слабые у людей сердца, Марья Дмитриевна, — слабые, а в сущности, живые и многозначащие люди населяют мир божий, и всем хочется иметь по калачику и всяк до самой смерти есть хочет, — только все перепутано. С совестью перепутаны всякие страсти — и честь и бессчастье, и хмель, и брань, и низкие мыслишки, и поэзия... Потому не знают люди, куда идти, и неясно — как жить? И потому попрыгов и мечтаний куда больше, чем верных дел. Вот каково у нас! Да что вам говорить, Марья Дмитриевна, ведь вы это самое лучше меня знаете...

— Не спорю с вами, друг мой. Действительно все у нас перепутано в жизни. И как сделать так, чтобы пружина наша стала на место?! Никто еще не сказал этого. Ни книги, ни дела, ни философы, ни поэты, — все обещают дать ответ людям, да пока что никак не

ответили, — рассудительно заметила Марья Дмитриевна, вполне согласившись с Федором Михайловичем насчет путаницы.

На столе появились стаканы и во главе их кипящий медный чайник. В сторонке была поставлена бутылка лафита, наполовину опустошенная и, видимо, издавна, с расстановками, опорожнявшаяся.

— А я вам, Марья Дмитриевна, принес от Александра Егорыча свеженьких огурчиков, прямо с грядки, — положены там, в прихожей.

— Без этого вы уж никак не обойдетесь, Федор Михайлович. Впрочем, я так привыкла к вашим заботам, что уж перестала и благодарить. Это все как будто испокон веков у нас с вами так и заведено. Только, голубчик мой, не выходите из меры, пожалуйста, не выходите. Сознаюсь вам — я бессильна отплатить должным порядком за вашу теплоту и внимание.

— О!.. никакой отплаты, Марья Дмитриевна... Решительно никакой. Если уж кому и отплачивать, так это мне вам и только мне. Ведь я пять лет жил без людей, жил подаяниями судьбы и ни перед кем не мог излить свое сердце. А ваше женское участие, ваша доброта — ведь это все стало мне незаменимо. И то, что вы протянули мне руку, то составило для меня целую эпоху... Да, да... именно эпоху. И никак не меньше. — Федор Михайлович почувствовал, что он должен выговорить все, что накипело в сердце, покоренном женской ласковостью и благожелательством. — Я у вас как в родном доме — приласкан и пригрет. Это ли не счастье для меня, заброшенного в далекую землю, измученного каторгой и только вот сейчас начидающего делать то, что составляет всю цель жизни, чему в юности отдано немало сил, за что и люди стали уважать меня и даже изливали свои восторги? Я воскресаю, Марья Дмитриевна, воскресаю духом и телом. Ведь тут у вас и только с вами я стал чувствовать себя человеком. И всей душой предан вам, переродился, можно сказать, у вас, обрел веру и любовь и знаю, чем жить, и сейчас живу только со своими тайными чувствами, берегу их и не стыжусь ежечасно носить их в себе, в самых искреннейших и тончайших стремле-

ниях души. Будьте же, о, будьте, другом мне, не отвергайте моих забот и обещайте дружбу навсегда, на века...

Марья Дмитриевна недвижимо сидела при этом изъяснении и, бросив долгий мыслящий взгляд на Федора Михайловича, скованная горячностью его речи, не могла произнести ни единого слова. Таким же мыслящим взглядом, полным тоски и какого-то нерешенного, остановившегося внимания, с упорством смотрел на нее и Федор Михайлович, потрясенный наплывом вырвавшихся чувств.

— Доброе у вас сердце, дорогой мой Федор Михайлович! — наконец заговорила Марья Дмитриевна и с жаром взяла своей рукой руку Федора Михайловича. Душа ее раскрылась Федору Михайловичу совершенно. — Да ведь разве можно забыть и отвергнуть такое? Ведь вы-то мне также дороги, голубчик мой! И будьте и вы у моего сердца.

Растроганный Федор Михайлович приник к руке Марьи Дмитриевны и осыпал ее горячими поцелуями.

Дружба была заключена на вечные времена, и новоявленные друзья стали наслаждаться полнейшим доверием друг к другу — по всем делам и расчетам. В долгие осенние и зимние вечера они задумчиво и рассудительно решали общие и даже семейные вопросы, вплоть до того, что и Александра Ивановича взяли в переборку, и Федор Михайлович, сокрушаясь о его поведении, всячески уберегал его от компаний городских прозябателей и бутылочников, с которыми тот сбился с дороги и нещадно губил свое здоровье.

— Да стоит ли водиться с этим народом?! — уговаривал Федор Михайлович незадачливого друга. — Можно ли сносить их злословие и все мизерные дела? — не уставая и с упреками твердил он. — Воротитесь! — не раз кричал он вдогонку удалявшемуся Александру Ивановичу, зная, что тот направляется к завлекавшим его пьяницам и плутам. — Опомнитесь, дорогой друг, вы ведь отец. У вас достойнейшая жена, — наставлял он. — Не губите их! И душу свою не грязните! Помилосердствуйте! — И Александр Иванович даже в хмельном виде иной раз сграждал

наставительных слов и беспрекословных уговоров Федора Михайловича и виновато поворачивал **домой**, покорный его голосу и устыдившись своих слабостей. И ни один лекарь, запрещавший ему ввиду развивающейся чахотки пить, не имел такого влияния на него, как Федор Михайлович.

Марья Дмитриевна облегченно вздохала, когда в доме наступала после хмельных сцен минута спокойствия. Александр Иванович смиренно удалялся в спальню на отдых. А через час-другой вставал и, долго и надрывно откашливаясь, расточал свои многословные извинения, а Пашу едва не до слез тискал в своих объятиях, лаская и целуя:

— Сынку мой! Сладенький мой! Не сердись на папу своего, а люби! Люби всех, и маму свою! И нашего друга Федора Михайловича не забывай! Помни всегда добром!

Марья Дмитриевна проникалась минутными надеждами на домашний покой и еще пуще прежнего верила в силы и в благородство Федора Михайловича, мечтая о лучших временах и лучших способах быть счастливой.

И вдруг в самый разгар золотых надежд узнает Федор Михайлович, что Александра Ивановица переводят в какой-то городишко Кузнецк (видимо, захолустнейший угол на всей земной поверхности) и там он получает место.

Эта весть без сожаления ударила прямо по сердцу Федора Михайловича. Он содрогнулся при этом известии и в первые мгновенья даже лишился способности полностью разобраться в жесточайшем ударе.

— Неужто все это вправду? — долго и со страхом допытывался он у Марьи Дмитриевны, также встревоженной новыми обстоятельствами и уже захлопотавшей в своем хозяйстве, которому стало вдруг угрожать немалое разорение.

— Уезжаем, дорогой наш друг, Федор Михайлович. Должны уезжать. Но мы не расстаемся с вами. Уж это никак. Это так, на время, — почти сквозь слезы разъясняла Марья Дмитриевна. — Я всегда, всегда ведь помню вас и всегда с вами, всеми своими беспокойны-

ми мыслями. Так-то, мой друг Федор Михайлович, так-то.

— Да как же иначе? — вторил сей Федор Михайлович. — Ведь мы же с вами... Мы же друзья — и навеки. И как же я... тут... один?.. Нет, я не могу так... Тут нужен иной поворот. Тут нужно все решить заново, — требовал он, видя такой гнев судьбы.

Но новые решения были бесполезны и напрасны: какие-то начальственные люди, которым уж больно досаждали роковые слабости Александра Ивановича и его скучнейшие просьбы о прощении, прибегли к деликатнейшему плану избавиться наконец от больного человека. И вот они сейчас избавлялись.

Новые нахлынувшие обстоятельства внесли немалую суматоху в распорядок всей жизни и Исаевых и Федора Михайловича. Прежде всего переезд на новое место — за пятьсот верст — требовал немалых средств, которых, разумеется, у Исаевых не было. Мало того — необходимо было возвращать мелкие долги, которых набралось изрядное число. Марья Дмитриевна была в сильнейшем беспокойстве и безмолвно взывала к великодушным чувствам Федора Михайловича, хорошо зная, что он-то сам денег не имеет и пробавляется на те рубли, которые не слишком часто, но присыпает (непременно присыпает) любимый брат из Петербурга, — однако она строила верные расчеты на его безмерную заботливость и всегдашнюю открытость и расположленность души. Федор Михайлович и в самом деле, едва узнал только о внезапных нуждах семейства Исаевых, как, забыв о собственных своих горьких делах, бросился к Александру Егорычу за советом и помощью. Ему он уже привык поверять все свои тревоги и досады и, невзирая на все его «баронские» манеры и привычки, считал его своим незаменимым и добрейшим другом. И Александр Егорыч и впрямь расточал свою доброту с полнейшей искренностью и даже самозабвением.

— У меня, Александр Егорыч, прескверный характер, — во многий уже раз повторял Федор Михайлович, — но я стою за друзей, когда доходит до дела.

С неудержимым страданием в голосе он подробнейше рассказал о положении Исаевых, об отчаянни Марыи Дмитриевны, совершенно поверженной надвинувшимися хлопотами и расходами. Ведь необходимо было купить для переезда кибитку или, если не хватит денег на кибитку, то открытую перекладную телегу. Необходимо было запастись провиантом на дорогу, иметь деньги на уплату ямщикам, на всякие непредвиденные расходы и хоть на первые дни пребывания на новом месте и оплату новой квартиры. И на все это не было никаких средств. Федор Михайлович умолял Александра Егорыча одолжить нужную сумму, которую он, разумеется, покроست, так как ждет новых поворотов в своей судьбе и деньги не замедлят прийти вслед за его трудами и талантами. Александр Егорыч, добрейшая душа, раздобыл из своего кошелька просимую сумму, и отчаянию Марыи Дмитриевны, совершенно растревоженной заботами «истинных человеколюбцев» (так она называла Федора Михайловича и Александра Егорыча), наступил конец.

Федор Михайлович отодвинул как бы на второй план все свои собственные чувства, все свое отчаяние при мысли о расставании с Марьей Дмитриевной и отдался первейшему делу помочи ей в ее новых поисках житейских благ.

— Не забывайте нас, Федор Михайлович, с нами пребудьте и нашего Пашеньку всегда помните, — повторяла с дрожью в голосе Марья Дмитриевна, укладывая в корзины и сундуки свои вещи. — Не расстаемся ведь мы с вами навеки? Не правда ли?

f — Да что вы, Марья Дмитриевна, дорогая моя! Разве возможно навсегда расстаться? Я буду строить свою судьбу, стройте и вы, стройте, и не жалейте сил, и верьте, — верьте в лучшие дни. Чего глядеть-то! Не «прощайте» скажем друг другу, а «до свидания», и только.

И вот наконец вещи все были собраны и упакованы; были наложены и перекладная телега и линейка, которую Александр Егорыч приготовил для себя, имея, однако, в виду определить в ней место и Федору Михайловичу. А Федор Михайлович признался, что хотел

бы проводить Исаевых и проводить далеко за город, этак верст за десять.

Не замедлил приблизиться и день расставанья. Утром, — еще не было и шести часов, — проснулся Федор Михайлович с трепетом в сердце. Он накоро оделся и вышел на улицу развлечься иртышским воздухом и размыслить о предстоящей разлуке. На лице его было написано уныние, тоска и почти что отчаяние, — молчаливое, безмолвное, но отчаяние. Он пошел вдоль берега, против которого виднелся островок, расположившийся по пути реки, и долго шагал по песчаным дорожкам, то подымаясь на гористые места, то спускаясь к самой воде. Ему казалось, что с отъездом Мары Дмитриевны обрывается вся его жизнь и наступает бесцельное существование, которое никак не может и не должно длиться. «Что же делать? — раздумывал он про себя. — И делать ли что?» Мысли его ничем не могли утешиться, и надо было только одно — терпение, все одно и то же терпение, которое он уже многие годы как бы воспитывал в себе.

Но вот уже и вечер, и скоро час прощанья. Александр Егорыч подготовил к ужину поджарки и поставил две бутылки шампанского. Экипажи были нагружены, и все отъезжавшие, вместе с Федором Михайловичем, благородно закусили и при этом побрызгали на дорогу, так что у Александра Ивановича несколько переменилось лицо и в глазах стало мутновато. Он с трудом взобрался на телегу, и не успели все выехать за город, как он задремал. Задремал и Паша. Федор Михайлович мало говорил. Мало говорила и Марья Дмитриевна. Они тихо взглядывали друг на друга и как-то порывами заговаривали, что-то вспоминая, что-то обещая и боясь забыть что-то сказать на прощанье друг другу. Но видно было, что оба были полны каких-то надежд на будущее, авось судьба приведет еще встретиться.

Стояла нехолодная ночь. Оба «экипажика» тащились между щетинками лесов, освещенных полной луной. Наконец Александр Егорыч велел остановить лошадей — надо было возвращаться назад. Федор Михайлович прерывистым голосом что-то произнес, так,

что никто не мог и расслышать, и жарко обнял Марью Дмитриевну. Она заплакала, не в силах удержать волнение. Федор Михайлович крепко обнял и поцеловал Пашу, а Александр Иванович даже и не проснулся, несмотря на остановку.

Лошади Исаевых двинулись в дальнейший путь. Федор Михайлович стал у линейки Александра Егорыча и боялся оторвать взор от удалявшейся телеги. Он долго, долго стоял и глядел вслед. А Александр Егорыч, умиленно и грустно задумавшись, смотрел на дрожавшие пальцы его поднятой правой руки. Марья Дмитриевна не раз обернулась и как-то нетвердо помахивала рукой. Телега становилась все меньше и меньше, и вот уже стук ее колес перестал доходить до слуха Федора Михайловича. Наконец все скрылось где-то за деревьями, объятыми темнотой и спрятавшимися дорогу. Федор Михайлович всхлипнул и, вытирая слезы, сел в линейку. Повернули лошадей назад и поехали прямо против луны. Навстречу брезжил и закрывал глаза лунный свет, неясный и тревожный.

Федор Михайлович достигает свои цели. И цели немалые

Да, чувствовал Федор Михайлович, жизнь — там, где любовь, жизнь только тогда, когда любовь. Пять лет он был как бы вне жизни и сам себя не считал даже вполне человеком. Безмерно много накипело в сердце, нагорело в душе. И только любовь вернула ему жизнь, и он понял, что он «опять человек». Но опять и опять фортуна жестоко потрясала его. В ту ночь, как распрошался он с Марьей Дмитриевной и Александром Ивановичем, он не заснул ни на минуту. Он долго ходил по своей комнате из одного угла в другой и все исчислял свои будущие бедствия, какие неминуемо, по его расчетам, должны были последовать и даже в самые ближайшие времена. По ночам он терял решительно все надежды, которыми упоенно жил днем, и предавался безутешным мыслям и страхам. Шагая по скрипучим доскам пола, он без оста-

новки набивал трубку за трубкой и поминутно зажигал потухавший табак, все что-то вспоминая, что-то в тысячный раз передумывая и не находя никаких решений. Он словно вновь видел, как удалялся тарантас, увозивший Марью Дмитриевну, словно слышал, как утихал его стук, пока совсем не исчез где-то в зарослях леса. И последние слова ее приходили на память и то, как она обернулась и еще и еще робко и устало помахала ему рукой на прощанье. В душе он обнимал и Александра Ивановича и нетерпеливо желал ему всяческой твердости духа и учтивого расположения. До рассвета он не сомкнул глаз, а как только занялась заря, побежал на квартиру Исаевых — оглядеть опустевшие стены, раскрыть окно, у которого стоял плетеный, вконец задряхлевший и навсегда сейчас заброшенный стул — ее стул...

Он прибежал к покинутому дому и у самого его порога вздрогнул: осиротевшая Сурька, выбежав из дверей, бросилась к нему и, виляя хвостом, подскочила на задние лапы и долго всматривалась в него своими обрадованными глазенками, словно недоумевая и жалуясь, почему вдруг сейчас перед ней стоят лишь одни голые стены и куда исчезло все ее единственное богатство, все ее земное счастье. Федор Михайлович долго и умиленно ласкал ее, то беря на руки, то вновь спуская на землю; вместе с нею он вошел в прихожую и бродил по всем комнатам, заглянул и в кухню и в чулан и, остановившись в столовой, долго задумчиво рассматривал запыленный и замусоренный пол. Сурька продолжала подскакивать и повизгивать, — видно, хотела до конца излить Федору Михайловичу свою обиду и горечь, как ей быть и как жить дальше. Наконец Федор Михайлович вышел на улицу и, еще раз бзяв на руки собачонку, нежно, с любовью, погладил ее и, опустив наземь, поманил за собою. Сурька весело побежала за ним, но вдруг на первом же углу остановилась, завиляла в нерешительности хвостом и торопливо, высунув язык, задышала. Федор Михайлович настойчиво звал ее за собою, все окликая: «Сурька! Сурька!» Но Сурька упорно стояла на месте, видимо размышляя, как ей поступить. И так она и не пошла

дальше. Федор Михайлович, отойдя шагов сто, тоже остановился и крепко задумался, все выжидая, не пойдет ли Сурька за ним. Он простоял так с десяток минут и двинулся дальше только тогда, когда увидел, как Сурька побежала назад, к «своему» дому.

У Федора Михайловича потянулись дни тоски и каких-то неясных предчувствий. Новый приговор свирепой судьбы предъявил ему жесточайшие требования — опять и опять что-то вытерпеть и опять забыться в надеждах и ожиданиях. Поверженный нахлынувшими заботами и новым надрывом, он жаждал только полного уединения, но, однако, оставаясь один, никак не находил себе места и часто бывал рад, когда надо было отправляться в лагери на ученье. Вместе с тем было еще одно чрезвычайно важное и, быть может, самое важнейшее обстоятельство, какое без всякого сожаления угнетало и томило его: это было то самое спешное дело, которое сейчас роковым образом замедлилось и притихло, — это было его сочинительство, его думанье над клочками записей о «мертвом доме», его размышления над картинками жизни в придуманном им селе Степанчикове и над самой вернейшей и занимательной придумкой — Фомой Фомичем Опискиным, которого он считал своим наилучшим изобретением и вполне новым характером во всей литературе. А между тем перо Федора Михайловича никак не повиновалось ему и не держалось в руке. Чуть коснется мыслями людей, покинутых им в каторжной казарме, или вспомнит об обитателях села Степанчикова, как тысячи самых чувствительных и свеженаболевших mestечек заносят и затрепещут в его душе, так что все его вымыслы и обольстительные случаи, коими он нетерпеливо стремился заполнить свои новые страницы, так сразу и отступят перед минутами одолевшей безвыходной тоски. В горьком своем одиночестве он считал себя каким-то камнем, презрительно отброшенным за край дороги. А уж в дни, когда в вечерние часы его сваливали припадки, угрюмость его не знала никаких границ. Он сидел неподвижно, едва прия в некоторое спокойствие после мучительных судорог, и его сковывало молчаливое отчаяние, в котором были и невы-

плаканные слезы, и невысказанные жалобы, и все это он утаивал в себе, пока встреча с Александром Егорычем или какие-либо иные толчки не выводили его из оцепенелого состояния.

Александр Егорыч, добрейшая душа и верный советчик Федора Михайловича, ходил за ним как за ребенком и внимал всем резонам своего нежданного спутника жизни, объяснявшего с дрожью в голосе, что без особого расположения к нему Марья Дмитриевны он не может спокойно существовать на этом свете, что у него каждое утро кружится голова и сон никак не идет и потому часты стали припадки, вконец его изнутившие. И в самом деле Александр Егорыч, беспрерывно заглядывая в лицо своему достойнейшему другу, подмечал в нем болезненную похудалость и какой-то несходящий сумрак в глазах и на всем лице. Однако Федор Михайлович решительно пренебрегал кружением в голове и всякими телесными недугами, так как считал, что тоскующие мысли о любви — это блеск души, это самое незаменимейшее из всех наслаждений, которого уж ни при каких обстоятельствах лишиться невозможно. «Хоть страдаю, но живу», — уверял он Александра Егорыча, ежедневно напоминая, что Марья Дмитриевна очень одинока, что она слабая женщина, истомленная болезнью и семейным страданием, и что надо о ней думать и всегда заботиться, и кто, как не он, убитый страстью, все это может выполнить с полным совершенством.

Александр Егорыч отнесся к своей миссии утешителя с безупречным знанием сердца Федора Михайловича. Им были предприняты полезнейшие поездки при свежем ветерке за город и даже в отдаленные места, к горным заводам, но более всего Александр Егорыч облюбовал для своей спасительной цели Казаков сад, а вместе с ним и своих новых семипалатинских знакомцев. И Федор Михайлович хоть редко, но не без успеха сокращал дни своей тоски, забываясь в посторонних впечатлениях на час, на два, а то и более, особенно если попадал невзначай на какой-нибудь бал в благородном семействе, где иной раз даже кружился под расточительные звуки Штрауса, выслушивая

одновременно, как сыплется благонамеренное остроумие самого наивысшего в Семипалатинске общества. А общество в один голос утверждало, что Федор Михайлович, хоть фигурой своей не слишком воплотил в себе бельведерские черты, тем не менее с завидной легкостью преодолевал всякие рискованные повороты в кадрилях и вальсах. Не забывал Федор Михайлович также и радужные дома своего начальства, особенно гостеприимство Анны Федоровны, которая давно примила беспокойные глаза Федора Михайловича и с замечательным женским проникновением угадала сердечные хлопоты знатного рядового бывшей «ее» роты. Она не замедлила позвать его к себе на масленицу и устроила блины, рассчитанные на самые прихотливые вкусы. К столу были поданы копчушки в лубочных коробках, привезенная из деревни сметана и заранее присасенная зернистая икра. А ко всему этому на столе был выставлен стройный ряд бутылок с самыми настоящими заграничными этикетками. Блины удались и г. славу. Изукрашенные поверху огненными жилками, они искусно сберегли в себе удивительно легкий воздух и жарко дышали, обливаясь растопленным ярко-желтым маслом. Федор Михайлович вполне оценил мастерство и расположность Анны Федоровны, столь тонко умерявшей боль его измученной души.

Анна Федоровна неоднократно сокрушалась — и не только перед мужем, но и перед Белиховым — по поводу невзгод Федора Михайловича и употребляла всяческое воздействие на начальственных лиц, которые наконец прониклись вполне достойным уважением к ссыльному сочинителю. Ссыльного сочинителя произвели вunter-офицеры, чем вполне отличили его от всей прочей массы солдат дисциплинарного батальона. Тем не менее запасов сладостных и успокоительных грез, располагавших к некоему забвению и покою, хватало у Федора Михайловича ненадолго. Чуть покидали его освежающие впечатления, как он погружался в мучительную задумчивость и в трепетное ожидание писем из Кузнецка. Особенно трепет усиливался перед приходом или привозом очередной почты. С дрожью в сердце он гадал, пришло ли письмо или

нет, и всякий раз, когда письмо не приходило или задерживалось, он испытывал приступ полного отчаяния. Марья Дмитриевна, однако, не медлила с письмами и аккуратно запрашивала, здоров ли Федор Михайлович да не случилось ли чего с ним. Письма были длинные и в полной мере откровенные. «Я расстроена, добрейший наш друг, Федор Михайлович, — писала она, — никак не устроимся и не наладим наше житьё-бытье. К тому же все время больна, кашель душит, в груди хрипота, и головные боли донимают... А Александр Иванович тоже в полном недомогании и по-прежнему не жалеет себя и не жалеет меня, — пьет, и бранит себя, и всякий раз умоляет простить. До чего это разрывает сердце мое! Ну, а как вы, как вы-то себя чувствуете? И как расположились без нас ваши часы? Ради бога напишите и не забывайте своих друзей».

Письма Марии Дмитриевны проникали в самую сердцевинку души Федора Михайловича. Он мигом отвечал на них и отвечал необычайно пространными излияниями тоски, повторяя, что не знает, куда бежать от горя, что с отъездом своих друзей лишился родного места и теперь некуда ему деваться, в душе полнейшая пустота, а при мысли о Марье Дмитриевне, о ее болезненном состоянии и душевных муках, его охватывает ужаснейший страх. От всего сердца он обнимал и Александра Ивановича и молил его о разборчивости в людях, о выборе благожелательных компаний. И слезно просил писать обо всем наиподробнейшим образом — и о новом городе, и о новых людях, и обо всем, обо всем.

И вдруг в руках у Федора Михайловича оказалось письмо, от которого у него закружилось в голове, которое он сразу даже не мог до конца обнять мыслями и чувствами. Марья Дмитриевна дрожащим почерком (он сразу приметил всю неровность ее строк и какую-то шаткость букв...) писала о том, что Александр Иванович скончался. Федор Михайлович, прочтя столь непредвиденные строчки, вскочил со стула, бросился к окошку, видимо для большего прояснения ума, потом кинулся куда-то идти, но куда, не мог определить и вместо того зашагал по комнате, однако через

несколько мгновений остановился и вышел через сени во двор и мелкими шагами заходил по дорожке от дома до сарая и обратно от сарая до дома, силясь привести в порядок зашатавшиеся чувства и понять до конца все случившееся, представить себе и его, где-то уже лежащего бездыханным, и ее, потрясенную роковым событием, и маленького Пашу, плачущего на груди у матери, и весь ужас, сковавший все в доме.

Он думал о бедном, несчастном Александре Ивановиче, о его истинном благородстве, о его доброте и заботах, и восклицал: какова судьба! Еще и еще беспокойнее думал он о Марье Дмитриевне, о ее отчаянии, о ее бедственном положении, о немедленной помощи ей. Он старался представить себе, исправен ли в данную пору ее кошелек и как, как она сможет с достоинством похоронить Александра Ивановича. И, наконец, он узнал, что она пребывает как бы без памяти, а его похоронили добрые люди на свои деньги, так как у нее, кроме долгов в лавку, ничего не оказалось и до такой степени ничего, что ей дали три рубля серебром на денное пропитание. «Нужда толкнула принять подаянис, и я приняла его,— написала она Федору Михайловичу,— а мальчик мой не перестает плакать и среди ночи вскакивает с постели и бежит к образу, которым отец благословил его за два часа до смерти. Я же лишилась сна и всякого покоя...»

Федор Михайлович на ту пору сам пребывал в страшнейшем безденежье — от брата давно не было никаких денежных передач, — и он снова и снова кинулся к Александру Егорычу, и подробнейше перечислил все страдания Марии Дмитриевны, которая продает последние вещи и даже принимает подаяния от незнакомых людей, и нужна незамедлительная помощь — «никогда не было нужнее». Александр Егорыч безотлагательно выслал 50 рублей и считал себя счастливейшим в мире человеком, что мог в такие минуты быть хоть чем-нибудь полезным исстрадавшемуся другу. Федор Михайлович повторял, что все эти деньги он непременно возвратит, как только кончатся его сибирские терзания и он снова покажет миру, кто он та-

кой. Но сейчас он считал себя сокрушенным и физически и нравственно и молил о помощи.

А со всеми его хлопотами все сильнее и сильнее брала верх одна рвущая его мысль — увидеть ее, увидеть во что бы то ни стало и немедленно, не теряя ни одного дня и ни одного часа. Но весь этот план, мигом созревший, показался Федору Михайловичу лишь малой долей тех фантастически упорных хлопот, какие безотлагательно были нужны ему для того, чтобы построить свою судьбу и вернуть себе все свои права — права человека и писателя. Эти права решительно не могли совместиться с пребыванием его в Сибири да еще в военно-дисциплинарном батальоне.

— Надо хлопотать об освобождении от тяжкого плена, — рассудительно думал Федор Михайлович. — Надо хлопотать о разрешении нового места жительства, для чего мысль о Петербурге была самой желанной, самой нужнейшей и даже единственно бьющей в самую цель. Надо хлопотать о разрешении печататься — Разрешат печататься — и я на всю жизнь с хлебом, — уверял себя Федор Михайлович. Без этого он не мог различить всей своей будущности, не мог надеяться на возможные и должные средства для всего своего существования, без этого немыслимо было бы устройство и самого желаннейшего — семейного счастья.

Федор Михайлович терялся среди всех этих целей, одинаково нужных, одинаково хлопотливых и одинаково еще невидимых. Одним словом, Федор Михайлович устраивал свою будущность, довольствуясь пока размышлениями и фантазией, но вместе с тем и приступив уже к подготовке намеченных форм своего пребывания на земле.

Подготовка проходила в необычайно мучительных обстоятельствах, полных страха, риска и ненадежных ожиданий: тут была и нескончаемая тревога за каждый день жизни Марии Дмитриевны и Паши, тут досаждали его и каждодневные поиски денег, займы, долги и всяческие расчеты, тут были и собственные недуги, столь изнурявшие тело и дух его, утомленного долгими испытаниями бессрочного солдата. Тут, наконец, донимала его и беспокоила мысль о том, что он

находится под тайным надзором начальства и полиции (так предуведомляла его самым секретнейшим образом Анна Федоровна).

Но соблазны жизни были у Федора Михайловича сильнее всяких страхов. Он неизменно выпрямлялся всякий раз и после припадков падучей и после новых и новых надрывов сердца. Как исполнительный солдат, имевший к тому же звание сочинителя признанных произведений художественной словесности, он был уже весьма отличен среди военного мира, и даже высшее начальство в генеральских мундирах иной раз считало своим долгом покровительствовать начинаниям и хлопотам Федора Михайловича, чему немало способствовал и Александр Егорыч, пользовавшийся влиянием во всем крае и непременно вступавшийся за него и его судьбу во время своих поездок в Петербург. На служебных постах Федор Михайлович был примером исполнительности и благородства. Ротный и батальонный командиры аттестовали его как честнейшего и умнейшего своего подчиненного. Встречавшиеся с ним лица почитали за честь вступить с ним в разговор и коснуться самых возвышенных понятий об искусстве, о патриотизме, о национальных правах, причем Федор Михайлович до страсти любил изъясняться насчет долга, чести и высоких чувств, всегда говорил о благородстве русской политики, о великой России и особенно о ее роли среди прочих государств, о ее всечеловеческих идеях и чувствах. Европу окончит Россия, — всякий раз с твердостью и даже суровостью в голосе напоминал он. Русская идя, русская борьба за судьбы славянского мира, за авторитет на Востоке — все это возьмет верх над корыстием и горделивостью западных стран.

Повстречавшийся с Федором Михайловичем офицер Валиханов (был он из казахов), умнейший, по мнению Федора Михайловича, человек и к тому же учений, подающий надежды, пришел в восторг от ума и тонкостей в понимании задач искусства у Федора Михайловича. Чокан Чингисович не мог надышаться речами Федора Михайловича, увидя в нем блестательного представителя русской культуры, с русским от-

сынческим сердцем. И с не меньшей же восторженностью встретился с Федором Михайловичем его старый петербургский знакомец, пылкий географ и путешественник, только что воротившийся изъезда всей Европы, Петр Петрович Семенов (потом названный Тань-Шанским), и Федор Михайлович, полюбивший ~~его так же, как и «Вали-хана»~~, почел своим несравненным счастьем прочесть ему некоторые набросанные уже страницы записок из Омского «мертвого дома», чем привел Петра Петровича в глубочайшее

волнение. Среди всех этих встреч и бесед с самыми разномыслящими людьми понеслись по всему Семипалатинску упорные слухи о предстоящей сдаче Севастопольской крепости, о тяжелом положении русских войск в Крыму, несмотря на все самоотвержение, с каким защищали русскую землю солдаты и офицеры. Федор Михайлович слыхал от капитана Степанова, что в Севастополе проворовались интенданты, что крепость осталась без медикаментов и без должного управления и что подвиги тысяч людей уже не спасут

крымскую твердыню.

Неожиданно пришла весть и о кончине царя. Николай I не пережил крушения своих политических замыслов и почуял, что рушилась вся его жандармская система управления страной: неспроста поэтому шептались всюду о том, что ненавистный царь сам покончил с собой, хоть и объявлено было, будто у него образовалось воспаление в легких.

Падение Севастополя острой болью отзывалось в сердце Федора Михайловича: утверждению его «русской идеи» был нанесен жестокий удар.

Но вот страшный пожар в Крыму утих. Молва разнесла славу героев севастопольской обороны. Замелькали имена Нахимова, Корнилова, Тотлебена и многих иных, и Федор Михайлович вдруг, вспомнив прошлые годы, остановил свое внимание на имени прославившегося генерал-инженера Тотлебена: да ведь это тот самый, кого он знал еще в Инженерном училище и о котором как о близком приятеле не раз ему рассказывал Александр Егорыч... Вот кто может все

сделать для него, вот кого надо просить, — уверил себя Федор Михайлович. И в Петербург, к Александрю Егорычу, туда уехавшему, и к Эдуарду Ивановичу Тотлебену, и к его брату Адольфу, однокурснику Федора Михайловича, полетели письма со страстью мольбой — помочь, поддержать, добиться права быть писателем, права печататься.

Федор Михайлович приводил сотни самых тональных доводов в защиту своих прав снова оборотиться полезным членом общества; он писал о том, что в прошедшие годы бывал совершенно слеп и верил в «теории» и «утопии», и когда в своем изгнаничестве понял все прошлые «заблуждения», содрогнулся и испытал великие мучения при мысли, что он отрезан от нужных дел и никак не может проявить свои способности и желания. «Я знаю, что был осужден за мечты, за теории», — писал он самому Тотлебену, генерал-адъютанту царя, и умолял испросить разрешение снова стать полезнейшим для отечества деятелем литературы. И какая радость охватила сердце его, когда он узнал, что и Адольф и Эдуард Тотлебены вполне сочувствуют ему и, так же как и Александр Егорыч, полагают, что гибнуть ему в сибирской ссылке незаслуженно и невозможно. Федор Михайлович воспрянул духом. Вскоре его представили к производству в прапорщики и выдали патент, в коем содержалось высочайшее повеление «признавать и почитать» его именно прапорщиком, то есть первым офицерским чином. И так взводный командир Достоевский стал офицером. Так вышел срок новым ступеням жизни ссыльного писателя. Ему намеревались возвратить его дворянские права, по что было самым главнейшим из главных — ему обещано было право писать на «узаконенных основаниях».

Тут уж мысль о Марье Дмитриевне окончательно взяла свое. Тревогам и ожиданиям Федора Михайловича, казалось, наступал какой-то решающий предел. Он чувствовал, что вот-вот придут фантастические часы встречи с той, о которой он говорил, что или сойдет с ума, или уж прямо в Иртыш. Но лучше всего, сейчас решал он, идти на всякий риск, лишь бы скорей

добраться до Кузнецка. Александр Егорыч и тут как тут очутился и, предварительно посовещавшись с соответствующим начальством, изобрел поездку в Барнаул, в которую на законнейших основаниях, как и подобает юридическому лицу, включил и Федора Михайловича, с тайным намерением дать своему опекаемому другу возможность оттуда проникнуть хоть на один или два дня в Кузнецк, благо от Барнаула не более двухсот верст.

И вот Федор Михайлович наряжен в офицерский мундир и определен для сопровождения каких-то фургонов с казенным имуществом в Змеиногорск и Барнаул. Солдатская шинель снята — и навсегда. Ее снял офицерский сюртук, к которому были прихвачены крахмаленая манишка и высокий стоячий накрахмаленный воротничок, достигавший почти самых ушей. В таком виде он решил предстать перед Марьей Дмитриевной и сразу произвести должный эффект. Из Барнаула на попутных лошадях он отправился в неведомый и загадочный Кузнецк.

Последние тревоги

Добравшись до Кузнецка, Федор Михайлович увидел маленький городишко, прилепившийся у скалистого берега Томи, в котором обитало сдва полторы тысячи жителей и было не более пяти или шести улиц, совершенно непроходимых в дождливые дни. Дырявые заборы с высокими воротами, покосившимися и позеленевшими от старости, преграждали доступ во дворы, издавна загрязневшие благодаря непременному пребыванию в них свиней, кур и уток. Дома, деревянные, с тесовыми крышами, стояли поодаль друг от друга, сиротливо и молчаливо, словно разлученные злыми людьми и жестоко обиженные.

День выдался хмурый и сырой. Ветер, казалось, порывался снести все крыши и изломать все заборы. На небе, набегая друг на друга, беспорядочно двигались облака, точно в страхе торопились уйти от погони. Они то превращались в одну непроницаемо-

серую массу, заполнявшую своей громадой полнеба, то через несколько мгновений снова бежали разорванными и ободранными клочьями, на которые вдруг падали еле мелькавшие холодные лучи скрытого, неведомо где пребывающего азиатского солнца. Сырой ветер, будто вырываясь из какой-то чудовищной засады, то бил прямо в лицо, то бросался в разные стороны. Наконец небо заволокла бескрайняя туча, набухшая от воды, и заморосил мелкий-премелкий дождик, все усиливаясь и усиливаясь.

Федор Михайлович шел по мокрым незнакомым улицам, крепко-накрепко запахнув свою лсгоньку, только что сшитую офицерскую шинель, и нетерпеливо искал прохожих людей, которые могли бы сказать, где живет семейство Исаевых. Встречных на улицах, однако, почти никого не было. Сердце его билось неровно и трепетно. Тело пробирала холодная дрожь. «Что-то там, у них, в доме? И какова-то она там? — метались в голове вопросы, один другого тревожнее. Наконец одна старуха, показавшаяся из-за угла, припомнила улицу, на которой живет вдова Исаева:

— Как пройдешь три номера, так на четвертом они самые и живут... — Она ткнула своим дырявым зонтиком в ту сторону, куда надлежало идти Федору Михайловичу. Улица, начинавшаяся от церкви, являла собой примерный вид захолустья, отрешившегося от всего окружающего мира.

И вот наконец Федор Михайлович, пройдя «три номера», очутился перед домом с пятью окнами на улицу и со скамеечкой у забора, у самой калитки. Он вытащил из правого кармана чистенький носовой платок с ветвистой каемкой (захватил с собой в дорогу из свежей, только что купленной дюжины) и старательно вытер усы и все лицо, мокре от дождя. Но не успел он потянуть за проволоку от звонка, как за дверью послышались торопливые шаги: то бежала уже Марья Дмитриевна, а за ней и Паша, видно заметившие Федора Михайловича еще у ворот. Паша перегнал мать и припал к мокрой шинели Федора Михайловича, который приподнял мальчика и жарко поцеловал. Марья Дмитриевна, вся в слезах, обняла Федора Михайлова.

вича и долго не могла отступить от него. И у Федора Михайловича тоже показались слезы. Оба вспомнили об Александре Ивановиче и еще раз всхлипнули. И Паша заплакал и прижался к матери.

— Ну, будет, будет, — из горла выдавливала, обращаясь к сыну, Марья Дмитриевна; ее душил кашель. — Измучились мы, Федор Михайлович, настрадались, друг наш.

Напрасно ждали и Федор Михайлович и Марья Дмитриевна спокойствия духа. Долгая разлука завершилась страстными речами без всякой даже перешейки. Обе стороны почувствовали, что пришла настоящая пора изъясниться во всех пунктах и по всем заботившим их обстоятельствам. Федор Михайлович начал с того, что воздал должное Александру Егорычу, которого представил как своего спасителя, как золотое сердце, как солнце, бескорыстно согревающее душу и тело. Он поведал Марье Дмитриевне о своей смертельной тоске и бессонных ночных, полных страха за нее, о мнимых мыслях по поводу ее отношения к нему — простому солдату, никак не обеспеченному и не имеющему еще твердой опоры в настоящей жизни и тем более в будущей. И могла ли поэтому Марья Дмитриевна без всяких сомнений думать о нем как о своем муже и надежном спутнике и хранителе?

Марья Дмитриевна перебивала Федора Михайловича и во многом подтверждала им сказанное:

— Да, не могла, Федор Михайлович, полагаться вполне на ваше доброс-предобное сердце и пылкий ум, зная ваше положение, зная, что вы еще далеко где-то на пути и хватит ли у вас сил, чтобы расточать на меня и на моего Пашеньку свои чувства и желания. А ко всем этим сомнениям прибавились обстоятельства, которые я скрыла от вас, боясь огорчить вас, зная, как вы страдаете в одиночестве. Тут, в Кузнецке, по смерти Александра Иваныча забегали ко мне всякие свахи, еле отвадила их, а вместе с тем объявился с пресерьезными намерениями один молодой учитель из местной школы, человек с доброй душой и чувствительным сердцем, и я даже была тронута его лаской, и даже в голове шевельнулись всякие мысли, не он

ли тот, кто может составить мое счастье... Но нет, Федор Михайлович, нет и нет, это было всего только мгновение, это было в горячке, в полном изнеможении, в полном отчаяния. Я была несчастна и одинока и без веры в завтрашний день. Я увлеклась мыслью о своем счастье, но когда на память приходили вы, я ужасалась, я ждала вас и ваши письма, полные забот обо мне. Я терпеливо надеялась на вашу судьбу, на вашу помошь... Я звала вас, хоть нас отделяли сотни верст.

— Так я и знал, так я и чувствовал, Марья Дмитриевна, — ответствовал Федор Михайлович, который насквозь все прочитал. — Сердце у вас слабое, душа больная, пугливая, в несчастье совершенно повергающаяся... — Но тут же Федор Михайлович заявлял, что никак не может и не хочет стеснить волю Марьи Дмитриевны, что ее счастье и покой для него дороже всего, и если надо, если она любит другого, если она дала слово, он готов отступить и даже всячески содействовать в ее делах и намерениях, особенно зная ее болезненность и раздражительность. Однако примириться со всем этим ему возможно только ценой неслыханных страданий, и он не в состоянии поверить, что так именно может случиться. — Не верю, не верю! — воскликнул он с болью в обрывающемся голосе. Он умолял не терять веры в него, — ведь он уже на новом пути, и судьба оборачивается лицом к нему, и он вернет все свое, все ему, только ему принадлежащее. ✓

Казалось, трещины закрывались взаимными уверениями, и впереди уже замелькали точки света, рассеивающие темноту, сгустившуюся в месяцы разлуки. Федор Михайлович заговорил о судьбе Пашеньки, которого надо, по его мнению, определить в Сибирский кадетский корпус, а это при его офицерском чине и некоторых связях с высоким начальством вполне осуществимо. Марья Дмитриевна со всей своей страстью оценила и запомнила внимание Федора Михайловича и отпустила его с пожеланиями скорей приводить в действие все его намерения и планы. И Федор Михайлович возвратился в Симипалатинск с утешительным сознанием того, что она только всеми жесточайшими обстоятельствами была приведена к отчая-

нию и только на мгновенье отступила, только чуть-чуть «поколебалась» — и больше ничего, решительно ничего, но она любит его, безусловно любит и не отдаст себя никому другому, имея сердце гордое и благородное. В новой разлуке, занятый службой в батальоне, он вспоминал, как она плакала у него на груди и как обещала ждать последних его решений.

Среди множества разных дел и казенных поручений Федор Михайлович с удвоенной горячностью пристрастился теперь к писанию своего романа о селе Степанчикове, при этом старался со всей пылкостью представить давно записанные в памяти и совершенно неслыханные в литературе, даже небывалые характеры. Сердце его сильно лежало к селу Степанчикову, причем самое-то село, со всей крепостной его жизнью, со слезами исхудавших матерей и с ненакормленными детьми, как-то отступило перед подготовленными заранее образами и вполне представимыми характерами, так что всей картине чего-то не хватило до правды.

Но тут необходимо еще и еще заметить, что Федор Михайлович все более и более останавливал внимание не столько на хитро изобретаемых им событиях и приключениях, сколько на характерах своих действующих лиц и их, так сказать, внутренних идеях. Характеры людей и самые крайние, хоть и вполне возможные, степени развития их разных сторон, коими можно было бы эффектнейшим образом поразить читателей, такие именно крупно выраженные характеры занимали его еще в петербургские годы, и на них он всегда налегал, считая их важнейшей гирей на своих весах, — ну, а каторжные годы и ссылка заставили его каждодневно видеть такие примечательные характеры, узнавать их, изучать и изумляться им, и он как бы приучил себя понимать всю их причудливость и разные душевые крайности, из ряда вон выходящие. Мысль о сильно обозначенных характерах стала главной заботой в его творческих делах: их речь, их излияния всяких чувств, их споры, в коих проявлялись бы все их страсти и порывы, — вот что выходило у него на первый план: он облюбовывал эти малейшие тонкости

выставляемых характеров. И сейчас, взявшись за перо, он сохранил эту свою поэтическую страсть. И в «Селе Степанчикове» обозначил два особых характера, вполне и давно им выношенных, — Фому Фомича и полковника Ростанева; первого — как давно подмеченную и уже возненавиденную им натуру человека, дошедшего до крайних и наглых степеней самомнения и своеволия, при этом основанных на открытом лицемерии, а второго — как натуру крайне противоположную, с резко ослабленной волей и как бы воплотившую в себе полное смирение и кротость — черты, им высоко в жизни уже оцененные. Да и рядом с этими выразительно представленными типами Федор Михайлович решил в большом своем повествовании изобразить еще и еще некоторые фантастически верные лица: одну генеральшу, которая совершенно уже выжила из ума и потому боготворила отъявленного негодяя и бывшего своего скомороха Фому, одну низкопоклонную фигуру дворового шута, лишенного малейшего человеческого благородства, и прочих примечательных степанчиковских обитателей, — людей довольно низкой пробы, порожденных крепостническими порядками, однаков вполне подходящих для одобрения господ цензоров и никак не посягавших на правила и строгости цензуры, которой Федор Михайлович на каждом шагу опасался, тревожась, как дичь в лесу, и считая себя все еще отверженным и бесправным писателем.

Захотелось Федору Михайловичу вместе с деревенским степанчиковским мирком изобразить и нравы городского провинциального общества, им вполне узнанные в Семипалатинске, с его сплетнями и интригами, с его дворянским лицемерием и расчетами. Так в его тетрадях и на отдельных листочках появились и новые картинки жизни, вроде внезапно представившейся ему погони провинциальных мамаш за женихом для своих дочек, причем женихом оказывался некий уже совсем одряхлевший и беспамятный князь, которого «забыли похоронить».

Перо Федора Михайловича удивительно легко при этом случае побежало по бумаге, и без всяких задержек выступили лица повести, в которой решено было

вслед за селом Степанчиковым и его обитателями поведать о некоем городе Мордасове и его обитателях — людях с чрезвычайно застаревшими, однако же и свое-нравными вкусами, всевозможных ферлакурах¹ и ловительницах выгодных фортун. Повесть, в которой было сделано немало сатирических выводов и выражено презрение ко всякой пошлости и рутине, он озаглавил «Дядюшкиным сном» и решил обязательно приготовить ее вместе с «Селом Степанчиковым» и записками о «мертвом доме» как свои первые после ссыльных лет страницы для печати — только бы поскорее утверждались его права на печатание и журналы стали бы принимать его рукописи. А с журналами он уже начал списываться, и редакторы давно затрясли своими карманами, пообещав благороднейшим образом дать наперед поощрительные, хоть и осторожные, деньги.

Вообще писательские тревоги Федора Михайловича росли не по дням, а по часам, даже по минутам. К тому же и вернейший его советчик Миша, видя засиявший горизонт своего ссыльного брата, начал торопить его перо и внушать высокие художественные мысли: дать журналам что-нибудь поэффектнее и погранцонее, с искусными мечтами и чтоб все было из души.

Меж тем приготовление необходимых рукописей, без коих и появляться-то в Петербурге или Москве было бы безрассудно, потребовало у Федора Михайловича немалых новых размышлений, так как замыслы его были капитальные, с широкими расчетами на полное признание, на славу, — ну, и, разумеется, и на денежную сторону. Размышлениям не было и счета — так много вопросов скопилось у него за годы одиночества, окруженного непомерным количеством людей на каторге и в дисциплинарном батальоне. Ведь что ни человек, запомнившийся ему и переступивший через все пороги дозволенного, то открывался свой особый вопрос, вставала своя особая загадка. Федор Михайлович никак не успевал и отвечать себе на все эти

¹ От французского faire la cour (ухаживать), в сороковые годы ходкое слово.

вопросы и загадки. С трудом он уже держал их в памяти и как-то даже терялся среди них... Только каторжная тетрадь его не уставала напоминать ему, о чем думал один из встреченных им людей и о чем другой и третий, кто с кем спорил, кто пророчил себе и ему самые несходные и изумительные судьбы. Словно тысячи голосов наперебой, спеша и твердя каждый свое, перекликались в его уме, так что сбивали и его собственные найденные на житейских перекрестках дорожные мысли и мечты.

Федор Михайлович никогда не покидал свою каторжную тетрадь и в каждый свободный час перебирал листочки с острожными записями, все исправлял их, дописывал и переделывал; давно записанное наводнил по несколько раз пером и любовался заново отдельанными словами. Жажда слов не давала покоя, требуя запомнить все слышанные голоса, все кем-либо заброшенные в его память мысли. Он вспоминал и писал, вспоминал и писал, и каторжные рассказы, поражавшие своей необъяснимостью, своими преудивительными характерами, следовали друг за другом без всяких остановок. В одном из них кто-то зарезал своего начальника за незаслуженные побои, а меж тем в каторге ложился под розги совершенно беспрекословно. Другой с таким же престранным нравом сохранил и в казарме свой форс и даже рисовался с хватливостью, — мол, перескочил через всякие черты и запреты, — и полным голосом объявлял: «Все позволено! Прочь с дороги! Я иду! Я — и никто другой!» Третий выставлял свой «железный» характер и преврятнодушнейше повествовал о том, как некогда в случайный час кого-то «уложил» как бы шутя, как бы невзначай... Федор Михайлович прилагивал в своих записках один рассказ к другому и в каждом из них спрашивал: как? почему? кто виновен? кто прав? кому мстить? кого благословлять?

Без устали он собирал в памяти недавние слышанные и виденные мысли и чувства, ставил их с полной логикой в ряд и с разных сторон оглядывал, выискивая их особые приметные и несхожие черты. И выход-

дило: сколько людей, столько и особых мыслей, столько и намерений, столько и своеволия и благородства.

С особенной страстью и любопытством он сопоставлял одни порывы души с другими, бывшими Б соверенно ином роде и духе, и странным образом находил их вместе и рядышком в одном и том же человеке, лишь только в разные времена и в разных местах и обстоятельствах. И так строка за строкой замелькал и заголосил перед ним весь «мертвый дом», недавно им исхоженный и по всем статьям изведанный. И в своем «Селе Степанчикове» и в «Дядюшкином сне» он также дал полную волю перу, все решительнее клонившемуся к таким презанимательным спорам и полнейшим несогласиям, раздирающим человеческую душу, постоянно суetyящуюся в любовных излияниях и в ежечасных себялюбивых расчетах. И широк становился круг загадок Федора Михайловича, удивительно разнообразными возникали вопросы о людях, к которым он спешил в своем безудержном воображении, подмечая сотни сталкивавшихся друг с другом желаний и прихотей — то шутовские черты, то наивнейшие поступки, то непомерную корысть и жадность, то готовность к любым необузданым и лихим делам, а то и благороднейшие затеи и порывы.

Навидавшийся многих и многих людей и как бы приученный, привыкший ко многим и многим характерам и всяким их аномалиям, он считал, что ничего нет фантастичнее всего того, что можно встретить невзначай каждый день, и что поэтому и характеры героев и героинь в художественных произведениях должны быть полно и тонко надуманными, именно надуманными во всех своих чертах, с подробнейшим разъяснением всех верных до фантастичности их сторон, обязательно с большим синтезом и с большой идеей. И не было конца приходившим ему на память характерам. Одним словом, Федор Михайлович окончательно вывел мнение, что неисследима глубина людских душ и надо положить чрезвычайные усилия ума и чувств и искать — искать в людях все человеческое, — и эта задача, считал он про себя, будет у меня на всю жизнь.

В феврале 1857 года, в самый разгар литературных забот, Федор Михайлович получил разрешение командира батальона подполковника Белихова на вступление в брак с Марией Дмитриевной и тотчас же заторопился в Кузнецк, чтобы еще до масленицы неизменно обвенчаться. Мария Дмитриевна считала себя уже почти счастливой женой и при этом вполне достойной своего будущего супруга, стремительно взмысившегося сейчас в ее глазах. В своем захолустье она неслышно и угрюмо поджидала Федора Михайловича.

Венчание совершилось в городской Одигитриевской церкви. В день венчания стояла оттепель, но снег упорно отворачивался от хмурых солнечных лучей. Мокрые ветви, колеблемые сырьим ветром, дрожали на голых деревьях, окружавших церковь. У паперти было грязно, так что жениху и невесте, приехавшим из возочицем фаэтоне, были сделаны особые подстилки. Мария Дмитриевна, бледная и взволнованная, в белом венчальном платье, прикрытом мантильей цвета бордо (собственного мечтательного вкуса и изготовления), медленно и с особой осторожностью взошла по ступенькам. Федор Михайлович, в новом мундире и брюках навыпуск, ведя под руку Марью Дмитриевну, употребил, казалось, все свои способности, дабы предстать отменным кавалером и чрезвычайно внимательным мужем. Он шел мелкими шагами, не торопясь и всматриваясь в мрачные углы церкви, оживленные десятками свечей, заранее им заказанных церковному старосте — человеку, известному во всем уезде своим корыстным нравом и неумеренным потреблением нюхательного табака.

После венца супруги, напутствуемые молитвами и пожеланиями многолетнего здоровья, без промедления рас прощались с Кузнецком и отправились на жительство в Семипалатинск, где их ждала заранее приготовленная на Крепостной улице квартира из четырех комнат, с креслами, обитыми дорогим тисненым ситцем (на них префантастические букеты), с зеркалами, с диванчиком «вперед — назад», в виде буквы «S», с двумя кадками померанцевых деревьев и закупленной

самим Федором Михайловичем посудой и прочим домашним обзаведением. Федор Михайлович взял в долг у своих приятелей немалую сумму денег, так как поездка и свадебные расходы возросли до весьма крупных размеров. Марья Дмитриевна жаловалась на недомогание, на нервное расстройство; она надрывалась от кашля и капризничала, боялась морозов и простуды в пути, и Федор Михайлович нанял ввиду дурных дорог закрытый экипаж и платил круглым счетом за четыре лошади. Ко всему этому немало денег было затрачено на венчальное платье и на экипировку самого Федора Михайловича.

Супруги ехали молча, утомленные и озабоченные, с беспокойными мыслями и предчувствиями немалых забот впереди. Доехав до Барнаула, они решили задержаться на несколько дней для отдыха и остановились у любезнейшего Петра Петровича Семенова в его временной, но удобнейше обставленной квартирке. И тут с Федором Михайловичем приключился совершенно из ряда вон выходящий припадок, который привел Марью Дмитриевну в полное содрогание...

Надо при этом полагать, что душа Федора Михайловича переполнилась к тому времени избытком счастья, — однако счастья, достигнутого ценой чрезмерных испытаний сердца и раздражительных приступов страха за каждый непредвиденный поворот жизни, ценой нескончаемых ожиданий чего-то нового и чего-то лучшего. Потому и припадок вышел совершенно небывалый — как следствие весьма долгого томления и совсем уж непосильных и особого вида пыток терпением, посланных ему судьбой.

В пути Федор Михайлович под дребезжанье экипажа и скользящий стук колес, предавшись самому себе, перебирал в памяти все знаменательные события последних дней, даже последних месяцев, даже всех последних лет, и эти события, перебивая одно другое и где-то в отдалении смешиваясь одно с другим, громоздились и проносились у него почти в каком-то полуслне. Он порой устало поднимал глаза на Марью Дмитриевну, но та безмолвно глядела вперед, с нетерпением встречая каждое придорожное дерево и торопя

минуты, когда лошади останавливаются и наступит некий отдых или даже полное завершение желанного, но тягостного путешествия в столь ненастное время. А лошади тем временем исправно отмеривали все новые и новые версты, цокая по мокрому и грязному булыжнику и оставляя позади нерастаявший и посеревший снежный покров холмистой и малолюдной земли.

Федор Михайлович минутами как бы забывался и ловил мелькавшие перед ним взгляды недавних своих семипалатинских благодетелей и покровительниц. И даже сам Белихов вдруг приблизился к нему из каких-то далеких движавшихся комнат и широкой улыбкой наградил его пытливые глаза. И Анна Федоровна, шурша шелками, тоже где-то в смутной тени мелькнула и, тоже улыбнувшись, куда-то бесповоротно исчезла. А Александр Егорыч со своим ласковым взглядом и добродушными уверениями, разумеется, неизменно сопутствовал пленительным дорожным мечтам и воспоминаниям. Федор Михайлович унесся в какие-то далекие города, крепости и пристани и у какого-то пылавшего светом маяка приметил и своего родного, никогда не забываемого Мишу, своего спасителя в горькие минуты прошедших лет. Но теперь горечь сменилась на радость, и он в своей дремоте был полон сю. Ему хотелось увидеть всех знаемых им людей и всем сказать, что он наконец счастлив и благословлен навеки. Ему слышалось притаившееся на клиросе церковное пение и голоса дьякона, а за ним и священника, возглашающего: «Призри на раба твоего Федора и рабу твою Марию и утверди обручение их в вере и единомыслии, и истине, и любви». Да, именно так, именно в любви, думает и повторяет Федор Михайлович. И это уже навсегда. И то, что было, то все кончилось, и вот он дождался своей минуты и своего торжества.

— Миша, Миша! — почти голосом думает он. — Ты веришь? Веришь тому, что я счастлив, что у меня уже есть и жена, и скоро, скоро я буду полноправным сочинителем и будет у меня свое место в столице среди журналов и редакций? Словом, я заявлю о себе в точности — кто я.

Но Миша молчит и тускнеет у погасающего маяка, и... вдруг видит Федор Михайлович, что это вовсе не Миша, а самый настоящий фельдфебель из его батальона; он выкрикивает повелевающим и жестоким голосом какие-то команды, но голоса его не слыхать, а только видно, как вздрагивают усы и правая рука отбивает какие-то такты. Федор Михайлович закрыл лицо. Он уверен, что с этой минуты он навеки счастлив и утешен. Он не хочет все это видеть и полон сознанием того, что невоплотимые, казалось, мечты стали настоящей действительностью. Он боится за свое счастье, с таким трудом, с таким мучительным терпением добытое.

Лошади фыркают, и колеса экипажа стучат инесут его и ее куда-то к новой жизни и, разумеется, к полной славе. Но вот колеса остановились. И перед Федором Михайловичем предстало застекленное крыльцо, прилепившееся к маленькому желтенькому домику. А дверь уже открыта, и сам Петр Петрович приветствует дорогих гостей. Марья Дмитриевна сошла с экипажа и опирается на руку Федора Михайлова. Она устала, разминает ноги и старается выгнуться после длительного сидения в пути. На лице ее обозначилась искусно сделанная улыбка, но они оба рады, что наконец очутились у радушных хозяев, идут в прихожую, раздеваются и слышат смех с громкими поздравлениями и пожеланиями. Федор Михайлович устало и застенчиво здоровается, тихонько смеется и, оглядываясь и вытирая платочком глаза, робко спрашивает:

— А где же Миша? Куда ушел Миша?

— Какой Миша? Что с тобой, Федя? Да мы у Петра Петровича... — с полным недоумения, каким-то задерживающимся в груди голосом напоминает Марья Дмитриевна.

— Ах, да, да... Очень, очень счастлив и благодарю. Бесконечно рад. Наконец! Наконец! Да, это все кстати. Все безусловно необходимо. И совершенно верно.

Федор Михайлович полузакрыл глаза и как-то порывисто запрокинул голову назад. Ему показалось, что сейчас с ним произойдет какое-то необычайное

приключение, полное света и сияния, и это приключение ему надлежит с радостью ждать, и спешить к нему, и мгновенно ловить, так как в нем — вся жизнь и даже нечто большее жизни. Но не успел он вполне ощутить весь трепет ожидания, как в горле у него что-то остановилось, словно застрял какой-то комок, и из груди вырвался стонущий крик. Крик был ошеломленно-протяжным. Это был почти вопль, причем голос кричавшего вовсе не был голосом Федора Михайловича, а как будто бы совершенно другого человека, с совершенно иными интонациями; но Федор Михайлович успел рассышать только свой первый, короткий звук, длившийся едва полсекунды, а потом все перед его глазами потемнело, и он перестал сознавать себя. Он свалился левым боком на кресло и при этом сильно ударился головой о деревянную спинку. Все тело его охватили конвульсии и судороги. Лицо исказилось, а рот вместе с подбородком и прижавшейся к шее бородой приняли такой вид, что вовсе нельзя было определить, что это Федор Михайлович. Он тяжело задышал, однако через несколько минут спазмы, будто на внезапных тормозах, остановились, и тело застыло в полнейшем беспамятстве.

Марья Дмитриевна отскочила от упавшего с кресла прямо на пол Федора Михайловича и закричала неистовым голосом, зовя на помощь.

Через несколько минут Федор Михайлович, еще лежа на ковре, пришел в себя. Он едва-едва приоткрыл глаза. Тут только решились прикоснуться к нему и, взяв его под руки, осторожно подняли и уложили на диван. Марья Дмитриевна достала носовой платок и поднесла к лицу Федора Михайловича в намерении вытереть мелкие капли холодного пота. Руки ее, однако, дрожали, и она с трудом донесла его до лба. Но в эту минуту платок выпал из ее рук, так что Петр Петрович мгновенно бросился поднимать его и вытер им щеки и нос Федора Михайловича. Позвали врача, который с прискорбием в голосе определил сильное мозговое заболевание — падучую болезнь, причем заявил, что средства для ее излечения медицинская наука еще не нашла, но надо беречь больного от всяких душев-

ных потрясений, дабы в припадке он не задохнулся от горловой спазмы, а потрясения эти и являются причиной болезни.

Федор Михайлович несколько дней лежал в гостиной у Петра Петровича; постепенно он приходил в себя, и с его физическим страданием слились тяжелые раздумья о непрекращающейся болезни, столь беспощадно оборвавшей сейчас тишину и гладь первых после свадьбы дней. Он думал о том, что если б он знал, что у него действительно падучая болезнь, он бы не женился. А врачи уверяли его, что все это только нервные припадки. Но что делать и как быть дальше? Нужны меры против болезни. Ведь в минуты горловых спазм, особенно будучи затянутым в узкий мундир, он задохнется, грудь не выдержит судорог. Надо лечиться. Нужна перемена климата. Во всех отношениях необходимо освободиться от военной службы и уехать — уехать в Петербург или Москву, только туда, только там возможно лечение и возможны средства для жизни. Он думал о судьбе Марии Дмитриевны. Она достойна спокойной жизни и счастливого провождения времени. Она тоже больна и тоже нервна. И тоже, как женщина, любит показать свои болезни и всякие горести, достойные обязательного внимания и полнейшего сочувствия окружающих. Переходы в ее ощущениях быстры до невозможности, они даже раздражительны и порой невыносимы, она чрезмерно впечатлительна, так как вся прошлая жизнь оставила болезненные следы, но она нежное и доброе созданье и любит его, и он любит ее. И надо, надо состроить общую судьбу. Мария Дмитриевна, хмурая и усталая, ухаживала за Федором Михайловичем и ежеминутно тихонько спрашивала его, каково его состояние, и все думала о его тяжкой, впервые при ней случившейся болезни.

С подавленным настроением приехали молодые в Семипалатинск. Потекли дни семейных и бытовых забот и устройства. А Федору Михайловичу дали отпуск на два месяца, специально для лечения. Он уехал в форпост Озерный, Мария Дмитриевна осталась одна. Паша был еще ранее увезен в Омский кадетский корпус, и она сидела дома и никуда не выходила, словно

наслаждаясь своей скучой и тоской. Город она ненавидела, боялась вспоминать свое прошлое, проведенное в тисках Семипалатинска, и жаждала новых впечатлений, новых мест жизни. Тем временем вышел указ правительенному Сенату о возвращении всех прав Федору Михайловичу и многим сосланным вместе с ним. В Москве и Петербурге быстро узнали о такой новости, и Некрасов первый всем сообщил, что изгнанники прощены и Достоевский в их числе.

Теперь оставалось Федору Михайловичу позаботиться о возвращении то ли в Москву, то ли в Петербург — лечиться у знатных докторов и, главное, писать и печататься. Жажда работы овладела им сполна и навеки. Он подал прошение об отставке по болезни и указал как место своего нового жительства Москву. Нетерпеливо и тревожась он ждал разрешения. Но разрешение все не приходило. Каждый день задержки повергал Федора Михайловича в жестокое уныние. Повести писались вяло, а записки об омской каторге все оставались в прежнем виде и вовсе не двигались. Тяготели и невзгоды в семье. У Марии Дмитриевны каждый день к вечеру повышался жар во всем теле, и мучили приступы кашля. Доктора никак не решались поставить верное определение болезни, но подозревали развивающуюся чахотку. Федор Михайлович весь был предан уходу за Марией Дмитриевной, предъявлявшей ему все большие и большие требования и выражавшей свое недовольство по случаю всякого, даже мелкого изъяна в доме. Не хватало денег, изнашивалось белье, портились вещи, остановились только что купленные стенные часы. Между супругами пошли размолвки и прорывалась болезненная раздражительность. Федор Михайлович считал, что жизнь его горька и тяжела, и только будущность, в которую он верил, действовала на него утешительно. И не было уже возле него непременного его советчика Александра Егорыча — тот пребывал в Петербурге и собирался в экспедицию на дальний Восток.

Свыше года ждал Федор Михайлович разрешения об отставке. Наконец в марте 1859 года вышел «высочайший приказ» об увольнении его с награждением

чином подпоручика; однако местом жительства состоящему под тайным надзором бывшему государственному преступнику, каторжнику и ссыльному определялся город Тверь. В Петербургскую и Московскую губернии въезд ему был строжайше воспрещен. Но этот укол не слишком уж тронул Федора Михайловича — он был рад и Твери, благо недалеко и до Москвы, и до Петербурга. Он ликовал, несмотря на многие невзгоды и помехи. Он установил связи не только с любимым братом, но и со столичными издателями и редакторами. «Дядюшкин сон» был уже отправлен в Петербург. Он сам уже хотел издавать журнал, где мог без всяких посторонних проприетеров и разных выжимал печатать и завоевывать свое имя

И вот наконец он получает право на выезд по месту нового жительства, и ему вручается временный проездной билет. Уже наступало лето, и в Семипалатинске, смертельно надоевшем ему, водворилась жара с пылью. Впрочем, справедливость требует сказать, что Сибирь, которая так «давила» на Федора Михайловича (по его собственным словам), уже была разгадана им и, несмотря на ее летнюю пыль и крутые зимние морозы, называлась им иногда даже благословенной страной. В последние годы, мытарствуя по ней и добывая себе надлежащее поприще, он стал чаще улыбаться и даже впадал в шуточные настроения, уверясь уже в том, что и в Сибири можно даже субалтерному чину быть вполне утешенным; он с полным правом похвалялся и сибирскими барышнями, нравственными до последней крайности, и сибирской дичью, которая тут летает прямо в городах по улицам и дворам и сама ищет охотников. Тем не менее Федор Михайлович, покидая Семипалатинск, никому не обещал в него возвратиться.

Супруги, благонравно перебраниваясь друг с другом по самым малейшим поводам, стали готовиться к отъезду. Предстоял нелегкий путь почти в четыре тысячи верст, и потому решено было совершить его без всякой торопливости, с остановками и отдыхом во всех крупных городах — в Омске, в Тюмени, в Екатеринбурге, в Нижнем-Новгороде, во Владимире. Федор

Попытка решить «проблему Достоевского» художественно-образными средствами и воссоздать сложнейшую фигуру великого писателя в романе сама по себе вызывает невольное уважение.

Наша художественно-биографическая литература (включая сюда и пьесы, и киносценарии), надо сказать, очень редко подымается до подлинного величия и сложности воскрешаемых ею образов гениальных людей прошлого. И здесь утвердилась навязчивая схема, где с одной стороны обаятельный герой-народолюбец, а с другой — всегдашая светская чернь, созданные всегда с помощью одних и тех же примитивных прислов.

Роман о Достоевском «Ссыльный № 33» — пока скажем — претендует на гораздо большую сложность, больший анализ и широту показа внутренней жизни своего героя. К этому, естественно, обязывал автора и сам реальный прототип. В этом случае общеизвестные штампы неприменимы.

Роман Ник. Арденса — не просто историческая иллюстрация или переодетая современность; это сложное «проблемное» повествование о во многом загадочной молодости Достоевского, о его трагическом внутреннем мире, об идейной «заязи» всего его потрясающего творчества. В этом отношении роман отличается следующими особенностями.

Во-первых, историко-бытовой «фон», вообще то, что окружает героя, на что падает его взгляд, вплоть до мелочей, — это не просто достоверная реставрация «стиля» эпохи по документам и мемуарам; это — прежде всего вещный, зримый мир героев самого Достоевского, воссозданный на материале его книг. Отсюда редкое образное единство книги, единство восприятия в ней, постоянное присутствие испытующего, остро наблюдательного взгляда ее центрального героя — Достоевского, как бы его автобиография или дневник.

Михайлович купил удобный тарантас, чтоб не причинял беспокойства Марье Дмитриевне, которая хрюпала кашляла и могла еще сильнее в пути заболеть. Домашняя утварь и мебель были распроданы и частью розданы знакомым и товарищам по службе. Федор Михайлович с Марией Дмитриевной нанесли прощальные визиты начальственным лицам и трогательно распрошались со всеми, кто делил их жизнь в семипалатинской глухомани. К полной неожиданности и горечи, они узнали о смерти подполковника Белихова: тот польстился на казенные деньги, растратил их и на том рас прощался со здешним миром.

Второго июля супруги покинули семипалатинский горизонт и двинулись в дорогу. Прежде всего они заехали в Омск и взяли с собой Пашу, которого решили воспитывать на новых местах, и далее покатали к Уралу. В лесных зарослях Урала их тройка остановилась у границы между Азией и Европой. Они вышли у пограничного обелиска из тарантаса, и Федор Михайлович в наплыве радостных чувств перекрестился и проговорил:

— Слава, тебе, господи, — привел наконец увидеть обетованную землю!

Эта минута заслонила собою все прошедшее.

Впереди была Волга, Москва и новая, новая жизнь.